

[Polaris]

Александр
РОСЛАВЛЕВ



КРАСНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССХСII



Salamandra P.V.V.

**Александр
РОСЛАВЛЕВ**

КРАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Рассказы
и стихи

Salamandra P.V.V.

Рославлев А. С.

Красный автомобиль: Рассказы и стихи. Сост. М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 217 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXIII).

В числе произведений забытого стихотворца и прозаика Серебряного века А. С. Рославлева (1883-1920) — немало мрачных поэтических фантазий и «демонических» видений, истекающих потоками крови на фоне древних замков или губительного современного города. В книгу включены также избранные фантастические и «страшные» рассказы и сказочки писателя. Далеко не исчерпывая сферу литературных опытов Рославлева (он публиковал и романы, и сказки в стихах, и военные, а позднее большевистские агитки), эти произведения представляют, возможно, наиболее интересную грань его творчества.



СТИХОТВОРЕНИЯ

ВАМПИР

Я вампир! я вампир! Эта теплая кровь —
Мой напиток, мой сладостный яд.
Я твой дикий кошмар, я казню за любовь,
Я казню за последний, чарующий взгляд.

Тишина, тишина... Чутко зыблется даль...
Но я вижу тебя, твою грудь.
Как бледна, как нежна, как ты вся замерла.
Я вампир твой! Я здесь! а его ты забудь.

Не люби, не люби, я ревную тебя.
Ты моя, ты мой сказочный мир.
О, блаженство — томить, сладострастно губя.
Я вампир!

ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ

Все было как бы в сновиденьи:
И смех зеркал в табачной мгле,
И в кадках мертвые растенья,
И змейки света в хрустале.
Цедил сквозь зубы из бокала
Струю пьянящего огня.
Волна поющая ласкала
И в даль зеркал влекла меня.
Ждала там женщина вся в красном...
Казалась красною мечтой.
В лице загадочном и властном
Был вызов страшный и простой.
Друг друга мы пытали взглядом
В тревоге сладостной борьбы,
Потом покорный шел я рядом,
Покорный вызову судьбы.
Казались улицы так длинны.
Ложились тучи на луну.
Шаги, тревожны и пустынные,
Будили гулко тишину.
Когда ж закрылась дверь за нами
И жаркий город отступил,
Я трепетавшими руками,
Безумный, тело обнажил.
Но, утолив мое желание,
Она ресниц не подняла
И гордо, молча при прощанье
Перчатку красную дала.
Лицо усмешкой исказилось,
Стал неподвижен острый взор.
Кровь... из перчатки кровь сочилась,
За каплей капля на ковер.

И вдруг повсюду запылала
На потолке, на стенах кровь.
И строго женщина сказала:
«Я смерть твоя — твоя любовь».

АНГЕЛ

Все было как бы в сновиденьи:
И смех зеркал в табачной мгле,
И в кадках мертвые растенья,
И змейки света в хрустале.

В хмельном пылу, в чаду разврата,
Она была всех скверн скверней,
Но, как к сестре, позвавшей брата,
Стыдлив и тих вошел он к ней.

Спросила: «Кто ты?» — не ответил.
Коснулся пальцами волос;
Далекий взор его был светел
И веял рот дыханьем роз.

Кто б ни был он, — ей чужды люди:
Ей лгали слезы их и смех,
Опять с тоской взяла на груди,
Опять ласкала, как и всех.

Мгновенье мысли были стерты,
Над бездной бездна вознесла,
И трепетали распростерты,
Два снежно-белые крыла.

Поднялся благостно утешен,
Как солнце, девственно лучист,
Сказал: «Был чист и стал я грешен,
Иль через грех мой стал я чист?»

Исчез — и снова в мутном зале,
Она плясала и пила,
И все, казалось, трепетали
Два снежно-белые крыла.

ПЕСНЯ КРОВИ

(Посвящается Марку Криницкому)

Ровно в полночь я пришел
Сел за гроб к ним — за их стол.

Как всегда, их было трое.

Смерть, король — гнилой старик
И веселый гробовщик.

Они пели песню крови.

Песню сложенную мной.
Смерть сказала: «Пей и пой!»

* * *

«Ложь белое готовь.
Жди, на ложь будет кровь.

Жди, жених твой постучится...

Ты светильник погаси,
Тайну в тайне принеси.

Тайна в тайне воплотится.

Ложь белое готовь.
Жди, на ложь будет кровь».

* * *

Смерть косила пьяный взгляд
И кивала песне в лад.

Распахнул король порфиру.

Он гнусил и, хмурия лоб,
Бил тяжелым кубком в гроб...

«Тайна в тайне воплотится»...

И веселый гробовщик
Каркал, высунув язык.

ИГРА

Что шумны в трактире гости?
Кто полночник за столом?
Это смерть играет в кости
С кривоглазым палачом.

Сдвинул каменные брови,
Глаз, как черная свеча.
Капля солнца, — капля крови
На рубахе палача.

Чет и нечет, — голос грубый,
Непристойные слова.
Смерть визжит и скалит зубы.
Что ни ставка — голова.

Палачу не отыгаться,
Разгорелся глаз черней
«Брось ты, старая, ломаться
Чем ломаться, лучше пей»!

Чет и нечет. Ставка бита,
На затылок саван слез.
Настежь дверь в трактир открыта.
Чертит месяц ширь небес,

Палачу судьба помеха
Чет и нечет: шесть и пять
Смерть вся скорчилась от смеха:
Проиграл палач опять...

ИДИЛЛИЯ

Когда под ножом гильотины
Зацветут все земные слова,
И зажжется о счастья слеза,
Лишь брызнут святыя рубины
И, как плод, упадет голова, —
Палач, погляди мне в глаза,
Чтоб вечером, призраком ясным
Появилась на блюде она —
Безгласная, в соусе красном
Рядом с доброй бутылкой вина.

ДЯДЯ ДЖОН

Были псы у эшафота
По ночам.
Каждый день была работа
Палачам.
Сила тайная будила
Мертвецов.
В полночь много их бродило,
Без голов.
Не луна ползла в тумане, —
Красный змей.
Жались в страхе горожане
У дверей.
Пели песни лишь в трактире
«Трех ворон».
Пил в короне и порфире,
Дядя Джон.
Величали Джона шумно
Королем.
Было буйно и безумно
За столом.
Старым хмелем било тяжело
По ногам.
Побросал он всех в растяжку
По углам.
Только Джон не мог напиться
Допьяна...
Прилетала как в гробницу
Тишина.
Джон любил свою работу,
Меч и плетъ.
Шел на площадь к эшафоту
Посмотреть,

Чьи отвергнула останки,
Мать-земля,
Узнавал он по осанке,
Короля.
«Эх, была тебе корона...
На беду.
Помни, помни дядю Джона,
И в аду!»
Гордо мимо безголовный
Проходил.
Ветер в небе вил покровы,
Свет гасил.
Черным снам, кровавым думам
Обречен.
Шел назад с лицом утрюмым
Дядя Джон.

ШУТЫ

Шуты короля хоронили
Гремя бубенцами,
Трясли колпаками,
И в бубны блестящие били
Шуты короля хоронили.

«Король наш, король наш веселый,
Кто спляшет чудесней
Кто ж с пьяною песней
Осушит твой кубок тяжелый.
Король наш — король наш веселый».

Шуты короля отпевали
И красные двое
Кривлялись и воя
Руками могилу копали.
Шуты короля отпевали.

«Король наш, король наш безумный.
Палач усмехнется,
Тебя не дождется
Палач твой на площади шумной.
Король наш, король наш безумный».

Шуты короля хоронили,
Гремя бубенцами,
Трясли колпаками
И в бубны блестящие били
Шуты короля хоронили.

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ

(Посв. Мисс)

Улыбчивую просинь
Свинцом заволокло,
Докучно стонет осень
И дождь стучит в стекло

Томясь бродил по саду, —
Все листья на земле,
И вспомнил я балладу
О черном короле

Король, король угрюмый...
Там в смутности аллея,
Его слетелись думы
К огню души моей,

Вся жизнь, как чаша с ядом,
Был темен каждый час;
Король, разивший взглядом
Своих бездонных глаз.

От ласк бледнели девы,
Сходя под хладный свод.
Унылые напевы
Слагал его народ.

С ним встречи избегали,
И мрачный, он блуждал
В тревоге и печали
Средь опустевших зал

Судьбе своей покорный,
У глаз он отнял свет

И стал носить лишь черный, —
Надгробный, черный цвет.

Однажды в хмурый вечер
Из замка вышел он;
Дул с моря острый ветер,
Был в тучах небосклон,

Всю ночь шумели строго
Вкруг замка тополя.
Куда легла дорога
Слепого короля?

Куда? Не он ли землю
Овеял скорбным сном?
И не ему ли внемлю
Я в сумраке ночном?

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

По городам и деревням
К залятой башне мчится он
Уже давно нет счета дням
И каждый день, как страшный сон.

Когда-то белый красен конь,
А он смеется крови рад
За ним шум битвы и огонь
И пьяный воющий набат.

От многовечных бед и злоб
В лице нельзя признать лица
Где ступит конь его — там гроб
И ужас, нет гробам конца.

В залятой башне дева ждет
В семи цепях, в гнетущей мгле,
Она то плачет, то поет,
О солнце, ветре и орле.

И для нее нет счета дням
И каждый день как страшный сон
По городам и деревням
К залятой башне мчится он.

СЕМЬ ПРИНЦЕСС

За тремя дверями, за тремя замками
Семь принцесс печальных сторожит горбун,
Гневно хмурит брови и гремит ключами,
Отпирает двери на ущербе лун,

И выходят девы белой вереницей,
Сходят по ступеням в задремавший сад.
Улетает первая, обернувшись птицей,
Шесть кивают вслед ей и спешат назад.

Идут галереей в мраморную залу,
Зажигают люстры, накрывают стол,
У восьми приборов ставят по бокалу,
Белыми цветами усыпают пол,

И, откинув кудри, возложив короны,
Огибают руки золотом браслет,
И садятся робкие на резные троны
В ожиданьи счастья, или новых бед.

В полночь набегает говор отдаленный,
Где-то воскресают перебои струн,
Слышен смех принцессы, но, не принц влюбленный,
Вводит ее старый, сморщенный горбун.

И срывают девы яркие короны,
В трепетном бессильи гнева и тоски,
С плачем и заклятьями покидают троны,
И уходят в башню, в башню под замки.

ПРИНЦЕССА

Принцессе подвластна нездешняя сила.
У нее на груди талисман.
Принцесса влюбленного принца склонила
На дерзкий обман.

Было в замке приветно и шумно.
Принц пел гордую песнь королю
И, вспенивши кубок, воскликнул безумно:
«С кем разделю»?

Странно смутились стоявшие рядом;
Но король им кивнул головой
И, смерив певца испытующим взглядом,
Твердо ответил: «Со мной»!

Кубок был выпит бесстрашно и свято,
Кубок был выпит до дна,
И обнял он принца, целуя, как брата,
И оба сказали: «Она».

Там, где теперь их могила,
Утром принцессу ласкает туман.
Ей подвластна нездешняя сила,
У нее на груди талисман.

ПЕСНЯ О БЕДНОМ РЫЦАРЕ И СЛЕПОЙ ЛИЗЕ

Жил юный, бедный рыцарь,
Дружил он с кузнецом,
Кузнец ковал и пела
Ему слепая дочь.

Росла слепая Лиза,
Как полевой цветок.
Слепую Лизу рыцарь
За песни полюбил.

Он говорил ей: «Скоро
Уеду далеко,
Вернусь к тебе богатым,
Со славою вернусь».

Уехал бедный рыцарь,
Уехал далеко;
Но к Лизе не вернулся,
Богатства не привез.

Ждала слепая Лиза,
И перестала ждать,
И были грустны песни
О милом женихе.

МРАМОРНЫЙ РЫЦАРЬ

Луна задыхалась, пугалась
У тучи в косматом мешке.
Над мраморным рыцарем Эльза
Металась в усталой тоске.

Над мраморным рыцарем Эльза
Металась и, плача, звала...
Над склепом кричали деревья,
А в склепе покоилась мгла.

Над склепом кричали деревья,
Загадочно глух был и слеп
С забралом опущенным рыцарь,
И тих низкосводчатый склеп.

С забралом опущенным рыцарь,
Узнай: молчалива, бледна,
Три года, три долгие года,
Глядела на море она...

Три года, три долгие года,
Он бился в далекой стране;
Вернулся туманною ночью,
Весь в ранах, в смертельном огне.

Вернулся туманною ночью,
И стих на заре его стон:
«Ах, Эльза, ах, бедная Эльза,
Как холоден мраморный он».

Ах, Эльза, ах, бедная Эльза!
Но мрамор разбужен тобой, —
Сжал рыцарь бессильную руку
Тяжелой, спокойной рукой.

Сжал рыцарь бессильную руку,
И странницы-смерти крыло
Овеяло строгой прохладой,
Склонившейся Эльзы чело.

БАШНЯ СМЕРТИ

Если в сердце солнце злое
Отравило все ключи,
В башню вечного покоя,
В дверь забвенья постучи.

Своды гулкие повторят
В беспредельности твой стук,
И бесшумно дверь отворят
Много ждущих бледных рук.

Ты войдешь, смежив ресницы,
И забудешь навсегда
Пролетевшие, как птицы, —
Птицы пестрые — года.

В мертвый лик дохнет прохлада
Скажет голос темноты:
«Ничего тебе не надо!» —
И ему поверишь ты.

Колыхнешься белой тенью
И отдашься в черный плен
Тишине и запустению
Смертью выложенных стен.

ПРИЗЫВ

Навестите склеп старинный,
Приходите в лунный час,
Буду ждать и саван длинный
Расстелю для вас...

Прилетят седые совы,
Закачаются кресты,
Тихо встанут, сняв покровы,
Девы мертвой красоты.

Будем петь о светлых чарах
Первой страсти юных дней,
Будем виться в легких парах
В полусумраке ветвей.

Приходите, только с вами
Я могу быть до зари,
Чтоб взглянуть, как за холмами
Загорятся янтари.

Навестите склеп старинный,
Приходите в лунный час,
Буду ждать и саван длинный
Расстелю для вас.

ГОЛОСА В БАШНЕ

Ты слышишь в «Аллее печали»,
Как странно шумят тополя.

Ах, милый, все листья упали,
И осенью дышит земля.

Не дверь ли открылась там в склепе,
Как тяжело, тягуче скрипит!

Нет, это подъемные цепи,
Да... — по мосту топот копыт.

Мне чудится скорбное пенье,
Так много звучит голосов,

Нет, милый, то ветер в смятеньи
Вкруг башенных вьется зубцов.

Не смерть ли кружит над мною?
Меня ты покинешь тогда...

Лицо волосами закрою
И в башне замкнусь навсегда.

А если подпольною мышью
Я буду скрестись по ночам?

Все думы отдам я затишью
И белым молитвенным снам.

А если полунощной птицей
Я буду кричать под окном?

Склонюсь над святою страницей,
Прочту твой любимый псалом,

А если я черною тенью
Явлюсь — поколеблю твой свет?

В тоске упаду на колени
И вновь прошепчу мой обет.

Так знай, не забытья, не слиться
Мятежному мне с тишиной,
Пока в гробовую темницу
Не ляжешь ты рядом со мной.

НА СТРАЖЕ

Усталое солнце на склоне,
Медленно тонет расплавленный щит,
Герцог, безумный, в железной короне
У входа в свой замок на страже стоит.

В замке пустынно,
Чуть шевелится на башне трава,
Тени ложатся уродливо-длинно,
Ласточки вьются над плесенью рва.

Усталое солнце на склоне,
Отблеск рубиновый в море разлит,
Герцог, безумный, в железной короне,
Герцог, безумный, на страже стоит.

* *
*

В кровавых порфирах и в ярких коронах,
Как прежде случайны и снова одни,
Из пропасти в пропасть, бросая огни,
Мы бешено мчимся на черных драконах.

Там где-то над морем наш замок старинный,
Внизу по пути за скалою скала,
Навстречу нам птицы, и ветер пустынный,
И мгла, беспредельная мгла.

Проносятся тени в мгновенных уклонах,
Закушенных звеньев не держат ремни,
Из пропасти в пропасть, бросая огни,
Мы бешено мчимся на черных драконах.

В ПЕЩЕРЕ

В моей пещере два дракона:
Один покой мой стережет,
Другой незыблемое лоно
Никем не зримых, темных вод.

Когда, скрывая отдаленье,
Немая ночь сгущает мглу,
Они вытягивают звенья
И выползают на скалу.

И я, властитель их суровый,
За ними тихо выхожу,
И каждый раз с тоскою новой
Считаю звезды, и слежу.

Века сменяются, как миги,
И, безнадежность затая,
Вникая в смысл небесной книги,
Судьбу судеб читаю я.

Когда же солнце шлет на склоны
Намеки ясности дневной,
Спешу назад я, и драконы
Вползают медленно за мной.

ЗВЕРИ

Мне снился пир чудовищных зверей.
Я возлежал, как царь, на этом пире,
И кубок с кровью был в руке моей.

Живые нежити в подлунном мире
Незримые они везде, всегда
Им имя «легион», но их четыре.

Они растят и рушат города,
Селят безумье, сеют преступления
В пожаре душ, сгорая без следа.

Один — багряный, голова тюленья.
Живот отвис, шесть крыльев, три хвоста,
На длинных лапах золотые звенья.

Другой, с клыком торчащим изо рта—
Змеиноног, на черный шар похожий
С изображеньем белого креста,

А третий — желтый, с ноздреватой кожей,
С двенадцатью глазами без зрачков,
Он был всех больше и глядел всех строже,

Четвертый же, имевший семь рогов,
Был цвета яшмы с пастью крокодила,
И с туловищем сросшихся двух львов.

Громадный зал был черен, как могила,
Утверждена на трех витых столбах,
Пылавшая жаровня нам светила.

Мы возлежали на резных гробах,
Кричали нутряными голосами.
Алела кровь на кубках и губах

И капала тяжелыми слезами.

* *
*

Далеко в пустыне моря
Спят глухие острова,
Там поет он, волнам вторя,
И душа его мертва.

В ночи ясных новолуний,
В ночи пьяной тишины
Он, созвав морских колдуний,
Славит девственность луны.

Совершает омовенье,
Шлет заклятые слова,
Правит чары и служенья,
Но душа его мертва.

Кругом в круг проходят смены,
Каждый облик нем и строг,
Волоса, белее пены,
Клочно падают до ног.

На рассвете девы моря
Покидают острова,
Вновь поет он, волнам вторя,
И душа его мертва.

МОРСКАЯ ВОЛШЕБНИЦА

В пене волн скала крутая,
Под скалой высокий грот;
В нем волшебница морская
День и ночь туман прядет...

То длиннее, то короче,
Волокно за волокном,
Бледен лик, сомкнуты очи,
Дышит грудь тревожным сном.

Что ей снится, чем томится?
Отчего она бледна?
Знает ветер, знают птицы,
Знает каждая волна.

Носят молвь, друг другу вторя,
Но нельзя ее понять,
И волшебной тайны моря
Никому не разгадать.

Все прядет... сомкнуты очи,
Дышит грудь тревожным сном,
То длиннее, то короче,
Волокно за волокном.

ПИРАТЫ

Привычный к молниям и рифам
Готовый к бою каждый миг,
Летел зловещим, гордым грифом
Их смелый бриг, их вольный бриг.

Склонясь на бочки и канаты,
За джином с трубками в зубах
Расселись хмурые пираты
И толковали о делах.

Их капитан висит на рее,
Он полюбил, — он изменил...
Лети же, бриг, лети быстрее
Над тишиной морских могил.

Нельзя любить, жалеть пирату.
Клялся, вступая в экипаж! —
Смерть всем — любовнице и брату,
Когда идешь на абордаж.

А Боб узнал в молящем взоре
Усладу-ласку давних лет,
Забыл товарищей и море
И опустил свой пистолет.

Так думал каждый; билась злоба,
Как знойных тропиков гроза,
С усмешкой мстительной на Боба
Глядели гневные глаза.

Он всколыхнул воспоминанья,
Он зависть в сердце разбудил,
Он добровольное изгнание
Проклятой мыслью оскорбил.

Качался сонно Боб на рее,
Спокойный, синий и худой.
Густой, шипучей пены змеи
Свивались быстро за кормой.

ЦАРЕВНА

Над синим морем дуб зеленый,
Под дубом терем златоверхий,
А в терему краса царевна.

И день и ночь глядит царевна
На перстень с камнем самоцветным
Глядит и горько, горько плачет.

Принес ей перстень ворон черный,
Взмахнул вещун крылом широким,
Взмахнул и скрылся в поднебесьи.

Царевна плачет, причитает:
Зачем ты, солнце-ведро, всходишь,
Зачем ты, ветер, тучи гонишь?

От слез не вижу бела-света,
А как цветок в ненастье вянет,
От слез краса моя завяла.

Очнись мой любый, мой голубый,
В чистом поле конь твой рыщет,
Лихого посвиста не слышит.

Очнись мой любый, мой голубый,
Очнись и встань на резвы ноги,
Сядь на коня, скачи быстрее.

Уж я раскину черны косы,
Возьму тебя на жарки груди
И замилую-зацелую.

Царевна плачет у оконца,
Шумит над нею дуб зеленый,
Внизу о камни море плещет.

Ночной порой по темным волнам,
Раскинув бороду седую,
Плыл царь морской считая звезды;

Он из-за шума слышал голос
И видел старый, как царевна
Метнулась с берега крутого.

Рукой чешуйчатой ударил,
До дна буруном вспенил волны,
Увлёк на дно красу царевну.

Вставало солнце из-за тучи,
В царевнин терем заглянуло,
Был тих и пуст царевнин терем.

Царевна дверь не притворила,
Пролетом ветер скрипнул дверью —
Был тих и пуст царевнин терем.

Дуб прошумел зеленым шумом
И стукнул веткой над оконцем.
Был тих и пуст царевнин терем.

На дне морском дворец хрустальный
А во дворце краса царевна,
И царь морской у ног царевны.

Вверху то прозелень, то просинь,
Вокруг все чудища да рыбы,
Да девы с рыбьими хвостами.

Царевна спит, царевне снится —
Спит с нею сокол ясный —
Все в серебре смеется море.

Но лишь пробудится царевна,
На перстень взглянет, сон свой вспомнит,
Слезами жгучими зальется.

И в гневе царь окликнет ветры,
Вздымает волны словно горы.
И корабли за днища ловит.

ЛУННЫЙ ГОРОД

Есть за морем город странный,
В заколдованной стране,
Белоцветный и туманный,
Затонувший в тишине.

Там не гаснет неизменный,
Истомленный лик луны,
Каждый там, навеки пленный,
Видит сладостные сны.

Там часы не меряют годы,
Не торопят ход минут,
И таинственные воды
Не дрожат и не текут.

Там застывшие растенья
Не меняют высоты,
Там все тени без движенья,
И без жизни все черты.

Путь туда далек и страшен
В шуме ветра и валов,
Мимо трех зловещих башен,
Трех — змеевых островов.

ОБЛАКА

Всадники в пурпурных латах
В яростной битве столкнулись щитами.
Нет, то деревья кричащие,
Разметавшие пламя и дым.
Деревья кричат и растут не сгорая,
Все выше и выше.
Нет, то развалины замка:
Башня с разрушенным верхом,
Мост через ров, а на нем тонкая белая дева;
Замок плывет и, волшебю меняясь,
Кажется старцем горбатым, а дева его бородой.
Старец склонился над книгой и ширится горб,
Голова отделяясь, становится острой...
Вот уж не старец, а птица
С загнутым клювом и длинным хвостом.
Так, погасая с золотом вечера.
Тают вдали облака.

РАЗВАЛИНЫ

Осенний день глядит печален,
Своей пугаясь пустоты,
На камни мшистые развалин
Летят последние листья.

Быль стен, обглоданных годами,
Еще таинственно жива...
Из трещин их торчит пучками
Седая, мертвая трава.

Ступени, темные проходы,
Площадки из широких плит
И обвалившиеся своды,
Все след величия хранит.

И этот герб, и эту нишу,
Я, мнится, помню с давних дней;
Я что-то памятное слышу
В усталом шуме тополей.

То, может шорох торопливый
Коврами скраденных шагов,
И поцелуй, и смех стыдливый,
И шелест вкрадчивый шелков.

Когда росли, цвели закаты
И наливалась кровью даль,
Как странно здесь блестели латы
И длинных сабель злая сталь.

А в час, когда ночные тучи
Рвал белой молнии клинок.
На башне кто-то был могучий,
А в тесном рву ревел поток.

Все это сон. Того, что было,
Слиняют скоро все черты;
Не смерть ли бродит здесь уныло
Взметая саваном листы?

КУРГАН

В бору у дороги,
Плешив и песчан,
Высокий пологий
Курган.

Палит огневое,
И шум разливной
Проходит по хвое
Волной.

Ковром до оврага,
Где ключ пересох,
Густая деряга
И мох.

А там повилика,
Багульник, шалфей,
И кровь-земляника
У пней.

Есть слух, что в кургане
Разбойник зарыт,
Что кровь в его ране
Кипит.

Что ночью он волком
Выходит седым
И верится толкам
Пустым.

Плывут лебедями
В простор облака.

Скользят облаками
Века.

Курган безымянный,
И неба затон,
И бор этот пьяный,
Все сон.

ВЕДЬМА

Она что-то пела и жалась ко мне,
И мчались мы долго в санях расписных,
На бешеной тройке коней вороных
Серебряным лесом при ясной луне.

Морозило крепко и пыль из под ног
Колола лицо и пушила ковер,
Вдруг в сумрачных елях сквозь белый узор
Призывным намеком блеснул огонек.

И кони свернули и вынесли нас
На малое поле к избушке кривой.
За тусклым стеклом огонек золотой,
Как будто кто дунул, мигнул и погас.

«Что ж это» — смущенно промолвил я ей.
«Поди, постучи», засмеялась она.
И только успел я дойти до окна,
Гляжу и уж нет ни ее, ни коней.

Стал звать я, никто не ответил на зов,
Прислушался, робко доносится ль бег.
Лежит, как алмазы, сверкающий снег,
Ни звука вокруг и не видно следов.

ГАДАНЬЕ

По окну цветки, овечки,
Кружевные деревца.
Слышно, лед трещит на речке,
Шарит ветер у крыльца.

Тяжко девице, не спится,
Слезы льет на перстенок.
— «Ах, не скрипнет половица
Где ты, где ты, мил дружок?»

— «Словно день, светлынь какая
Погадала бы пошла,
Кабы зеркальца дурная
Не разбила я со зла.»

Сердце частый молоточек,
Жарко девице от кос,
Повязала ал-платочек,
Да с постели на мороз.

Добежала до колодца.
Крепко спит, молчит село,
Месяц-ласкотник смеется,
Всюду бисер, все бело.

Вот кряхтя журавль нагнулся,
И ведро летит на дно,
Снова носом в небо ткнулся
И ведро полным-полно.

Стынут руки, щеки красны,
Что березынька, тонка.
— «Покажи ты, месяц ясный,
Мне любезного дружка.»

Клонит девица ресницы
Над студеною водой...
Сходит бравый, круглолицый
В синей шапке со звездой.

«Заждалась, моя зазноба»?
Миловал, а из-за хат,
Из-за дальнего сугроба,
Подымался старший брат.

Вкруг колодца он ледышки,
Расцветил, что хрустали,
Шли по хворост ребятишки,
Мертвой девицу нашли.

МАСКА

Жизнь — безумная потеха,
Взвейся бубен огневой,
Блеском солнечного смеха
Зазвени над головой.

Солнце — маска. Пусть под маской
Мироборческая ночь,
Пусть приходит... Встречу с пляской.
Черной смерти крикну: «Прочь!»

Разожгу костер последний,
Запыляет вихревой;
И, чем ярче, тем победней,
Я ударю в бубен мой.

Солнце—маска золотая;
От тебя не отрекусь.
Шут твой верен, умирая,
С красной смертью обручусь.

Жизнь — безумная потеха,
Взвейся, бубен огневой,
Блеском солнечного смеха
Зазвени над головой.

ПРАЗДНИК ПРОКАЖЕННЫХ

Сегодня праздник наш, —
Сегодня праздник прокаженных...
Вино из древних чаш
И крылья слов, вином зажженных, —
Сегодня праздник наш!

Святой огонь свечей
Встревожил сон и тени храма.
О, лейся блеск лучей!
Горит торжественно и прямо
Святой огонь свечей.

Нас молча смерть свела,
Вложила тихо руку в руку,
И мы гнием, а в душах мгла
Рождает в ярых муках муку...
Нас молча смерть свела.

Приди и сядь за стол,
Кто б ни был ты: палач, предатель...
Коль стал твой путь тяжел,
Приди — тебя простит Создатель.
Приди и сядь за стол,

Мы скрыли язвы лиц,
Чтоб не стояли пусты чаши,
Чтоб стае звонких птиц
Подобны были думы наши, —
Мы скрыли язвы лиц.

До солнца заперт храм,
Чтоб в спящий город не вошли мы;
Но что нам делать там? —

Всем страшны мы, везде гонимы...
До солнца заперт храм.

Сегодня праздник наш,
Сегодня праздник прокаженных,
Вино из древних чаш,
И крылья слов, вином зажженных, —
Сегодня праздник наш.

КАРЛИКИ

Коки-Филь и Моки-Дут,
Вальс танцуют на столе.
Ах, как весело живут,
Люди на земле!

Карлик с карлицей смешны.
Мы, их зрители, — смешней.
Жизнь — не шутка ль сатаны
От начала дней?

DANSE MACABRE

Стою, смотрю, уродец,
Над безднами плясун, —
Двор давящий колодец,
А небо, как чугуун.

Чье сердце солнцем жило,
В камнях погребено.
Льет дождь, стуча уныло
В асфальтовое дно.

Мне грезится равнина,
Меж далей вольный пир. —
Дождь словно паутина,
Заткавшая весь мир.

Степной простор, далек он
И глух о нем рассказ,
Ряды зажженных окон,—
Ряды застывших глаз.

Стою, смеюсь, горбатый,
Как призрак в смутном сне,
Случайный соглядатай
Уродцев близких мне.

Там видно стол, приборы,
Высокий канделябр,
А там спустили шторы
И слышен «Danse macabre».

Танцуют костяные
Жильцы гнилых гробов,

А мы, как заводные,
Снуем под стук часов.

Смолкает гулкий ворот
Возможностей дневных.
Тяжелый, хмурый город —
Не кладбище ль живых?

Равно к добру и худу
Потеряна стезя,
Давно не верим чуду, —
Без чуда жить нельзя.

Нас ждут в небесном храме
И звезды и трава...
Мы здесь под номерами,
Здесь даже мысль мертва.

Тускнеют наши взоры
Под стражею дверей.
Безносые танцоры,
Танцуйте веселей.

СМЕРТЬ У ПАРИКМАХЕРА

Смерть в зеркалах отражена,
Надет парик, прическа взбита,
Под маской розовою скрыта
Ее усмешка костяная.
Смерть в зеркалах отражена,
И беспредельна их двойная
С холодной тайной глубина.

Сухой, плешивый старичок
Вертит и щелкает щипцами...
К такой приятной, редкой даме
Он преисполнился вниманья
И, прилагая все старанье,
Лелеет каждый волосок.

Бьют полночь хриплые часы...
Желанный миг для привидений.
Змеится газ и пляшут тени,
Бьют полночь хриплые часы —

На смерти платье, как весна.
Воздушность кружев, лент и складок, —
Мир соблазнительных загадок,
Смерть обольстительная фея,
Лучистой сказкой, лаской вея,
Благоуханна и нежна.

Смерть нарядилась в маскарад.
Пора, ждет легкая карета,
Там в блеске люстры и паркета
Пленит, мелькнет царицей бала.
Смерть нарядилась в маскарад
Кто ты, кому на дно бокала,
Она прольет свой тонкий яд?

ЗАГУЛЬНАЯ

Где ты милый,
Да пригожий?
Червь постылый,
Сердце гложет.

Я тужила
Три недели,
Все ходила
По панели.

Напивалась,
Допьяна я.
Целовалась,
С кем не знаю.

Целоваться,
Вкусу нету.
Распрощаюсь,
С белым светом.

Все устрою
Очень просто:
Головою
Прямо с моста.

В БЕЛУЮ НОЧЬ

В белую ночь у канала —
В белую ночь —
Блудная мать повстречала
Блудную дочь.

Призрачны были их лица,
Взгляды темны.
Каждая словно царица
Мертвой страны.

Странно поникли... Ни слова...
Вместе пошли.
Грезились яркости зова
В скрытной дали.

Было все жутко немного:
Барок ряды,
Арки над медлящей строго
Сталью воды.

В небе унылом волокна
Снов-облаков,
Веще-белесные окна,
Тайны домов.

Тени дремали, нечетки
В бледном плену.
Изредка дребезг пролетки
Рвал тишину.

Белая ночь обратила
Явное в бред.

Хмурый склонясь, на перила,
Мыслил поэт.

Женщины к ласкам взманили
Безднами глаз.
— «Нет», — он подумал, — «мы были
«Близки не раз».

«С вами душа не согласна, —
«Скорбно пуста,
«Только возможность прекрасна,
«Только мечта».

Женщины в чутком томленьи
Мимо прошли.
Ждали иные сближенья
В смутной дали.

Силясь тревожно, устало
Тьму превозмочь,
Белая ночь колдовала,
Белая ночь.

ВСТРЕЧА

Оглянулась, как будто случайно,
Улыбнулась, замедлила шаг.
Ах, порочная сладостна тайна,
И повлек опьяняющий мрак.

Смех, как ночь, начерненные брови,
А глаза — два колодца без дна,
Губы цвета сочащейся крови
И напудренных щек белизна.

— «Кто ты, женщина, птицею черной,
Уносящая душу мою»?
— «Слышишь город глухой и упорный,
Дочь его, я любовь продаю.»

— «Разве, женщина, золото веско
На твоих иступленных весах?»
— «Вся я, вся я, — из желтого блеска,
Ваша ложь, унижение и страх.»

— «Сказка улиц, безумная сказка,
Не хочу, не пойду за тобой...»
— «Неизбежна над бездною пляска,
Все равно мне: не ты, так другой.»

— «Я палач твой и пленник твой кроткий,
Преклоняюсь, как в поле трава.»
Стук копыт, мы под верхом пролетки,
И в канале огней кружева.

Вот зияют так близко «колодцы».
Я касаюсь пахучих волос,

Вот закрыла лицо и смеется,
И пугливо звучит мой вопрос:

— «Отчего, отчего ты закрылась?
Странен смех твой и пальцы как лед.»
Быстро в угол она отклонилась,
И разнять своих рук не дает.

— «Не царапай мне рук, не царапай!»
Рознял руки, но смех не погас:
Кто-то серый смеялся под шляпой,
Кто-то серый, без носа и глаз.

В ПУБЛИЧНОМ ДОМЕ

Ни горя ни радости нет,
То пьяные свищут метели,
Забрезжит унылый рассвет,
Два трупа на смятой постели.

Ты царица снегов, — я царь,
Мы горды нагорными снами,
Зачем же не солнце над нами,
А желтый, ослепший фонарь?

Не я ли железным орлом
Стремился к подвластным мне странам?
Не я ли вчера за столом
Рыдал над пролитым стаканом?

О подруга моя, — мечта,
Мы встретились в огненном зале,
Что души друг другу сказали,
И как зацвела красота?

Душа опаленная вянет,
Карающий близится миг:
Пройду меж зеркал я и глянет
Из них мой безумный двойник.

* *
*

Когда свинцовые туманы
Падут на хмурый Петроград
И над Невою мутно-рдяный,
Зловеще расцветет закат;

Когда все лица необычны
И мнится, — призрачны дома,
Когда все мысли безразличны
И сердце овевает тьма;

Когда шагаю по панели
Без цели, сам себе чужой,
Он, в треуголке и шинели,
Загадочный, следит за мной.

Боюсь и трепетно хочу я
Еще увидеть только раз,
Его усмешку тонко-злую
И жесткость неподвижных глаз;

Но обернусь и торопливо
Лицо он прячет в воротник
И вновь блуждаем молчаливо,
И кажется за вечность — миг.

Мы у ворот должны расстаться,
А ночью в комнатной тиши
Я буду деланно смеяться
Над призраком больной души.

ДЬЯВОЛЫ ГОРОДА

Дьяволы города, цепки их сети,
Над бредящим городом черный покров,
Хмурые улицы в мертвенном свете
Колеблемых ветром стеклянных шаров.

Дьяволы города, купли и мены,
Кто не предатель, кто здесь не лжет?
Справа и слева все стены и стены,
Вывески, вывески, пасти ворот.

Дьяволы города все запятнали.
Бледный мечтатель в камнях тюрьмы,
Чахлые дети в промозглом подвале,
Женщина с сердцем страшнее чумы.

Дьяволы города, все им не сыто,
До боли изведена каждая ночь.
А дни? Иль не знаете, солнце убито.
Прочь из проклятого города, прочь!

БАРЕЛЬЕФ

Виктору Муйжелю

Я видел барельеф, и до сих пор
Мне сердце жжет о нем воспоминанье...
Вот в небо крик, вот каменный укор!

Под барельефом не было названия:
Труп женщины, на нем мужчины труп,
Их Змей сдавил и замер в созерцании...

Взгляд у обоих холоден и туп,
Но столько страсти в жадном поцелуе
От смертной боли искривленных губ.

Проклятый Змей, чью силу роковую
Не одолеть, чьих чар не избежать,
Коварный Змей, обвивший ось земную!

Земля, земля — моя святая мать,
Везде прополз он — враг твой ненасытный,
На всем его зловещая печать.

САТАНАИЛ

Властитель свергнут, рай сожжен,
Дыханьем смерти вечность веет,
Былая жизнь, как смутный сон,
Земля пуста и цепенеет.

Где ветер тучи проносил,
И океан шумел угрюмый,
Отягощен предвечной думой,
В тоске поник Сатанаил.

Земля пуста и на горах
Царит уныние глухое,
И солнце в дымных небесах
Заходит, кровью налитое.

Взмахнул крылом Сатанаил,
Взмахнул и медленно поднялся,
Холодным смехом засмеялся
И взглядом солнце погасил.

СМЕРТЬ

Смерть — старая насильница — пьяна.
На улицах не счесть телег с гробами,
На кладбище могильщики без сна...

Смерть всюду, каждый миг в трактире, в храме...
Кто зачумлен, тому спасенья нет,
Тот на других глядит ее глазами.

Все: юноша, старик в избытке лет,
Дитя-цветок и женщина, как сказка,
Замкнулись все и жгут вечерний свет.

Но страх не заглушит ни хмель, ни ласка;
Он у дверей, и каждый, молча, ждет:
Вдруг боли, корчи и лицо, как маска.

Смерть — старая насильница найдет,
Руками цепкими вопьется жадно,
И мертвым ртом к живому рту прильнет.

Дышать и знать, что дышишь, так отрадно.
Я, солнце, твой и мысль моя, как ты,
Возвышенна, красива и громадна.

Зачем же смерть и ранние кресты?
А в эти дни их выросло так много.
Вот, может, шел к возлюбленной, мечты...

И трупом лег у милого порога.
Кто ж кормчий наш? До дна раскройся твердь,
И обнажи нам дьявола иль Бога,

Чтоб знали мы, что вечно: жизнь иль смерть.

НОЧЬ

О эта ночь!.. с тех пор моя душа,
Перестрадавши тысячи распятий,
Питает солнце, огненно дыша.

Казалось, в каждом громовом раскате
Был черный смех всех ужасов земли,
Весь пирный ад их каменных зачатий.

В разрывах туч, которые ползли,
Как пьяные, незрячие уроды,
Метлица молний яростно мели.

Один удар, обрушившись на своды,
Потряс всю башню, треснула стена
И загудели в зал подземный ходы.

Еще удар, еще... и тишина
Безумней самой богохульной клятвы.
И в этот миг предстал мне Сатана.

«Вот полдень мира», рек он, «на закат вы
Придите все опять моим путем,
Прославь мой серп и предскажи час жатвы».

Я внял и с гордо поднятым челом
Вещал повсюду голосом столетий,
И каждый час был мрачным торжеством.

Но как-то раз в цветах, в весеннем свете,
Увидел я играющих детей,
Стал говорить им и смеялись дети,

И я постиг вернейший из путей.

РАССКАЗЫ

ПРОФЕССОР В АКВАРИУМЕ

Профессор Горбатов шел в ресторан. В этот вечер он закончил шестнадцатый том своего труда по ихтиологии, чем был очень доволен. Последние две недели не выходил из дома — от письменного стола к дивану или к книжному шкапу, от книжного шкафа к письменному столу — каких-нибудь шагов сто за весь день, а то все сидел и работал. Звонили ему из разных мест по телефону — сообщали новости о войне, о знакомых, но он был так занят своими мыслями, что слушал нехотя и отвечал невпопад. Заключительная глава удалась как нельзя лучше — все он обосновал чрезвычайно точно и даже в том месте, где говорилось о поэзии у рыб, ни с какой стороны к нему нельзя было придаться.

Приятно пощипывал морозец, весело мелькали извозчичьи сани, и, когда он вошел в знакомо освещенный подъезд ресторана, ему показалось, что швейцар снял с него пальто как-то очень ловко, точно фокусник. Вообще все было превосходно, и у него даже явились некоторые легкомысленные соображения относительно того, куда он поедет после ужина.

Около зеркала, перед которым профессор задержался, чтобы привести в порядок бороду, стоял поместительный аквариум с тонко журчавшим фонтанчиком и телесного цвета раковинами. Сверху плавал сачок, а на дне дремотно шевелились темные рыбы. Великолепный экземпляр *Gadus lota**, вершков четырнадцать длины и редкой по яркости окраски, не мог не обратить на себя внимания профессора. Замотравившись на него, он вспомнил об *Ophidium barbatum*** и некоторых его забавных особенностях, но в это мгновение, одновременно с коротким плеском, все как будто замутилось и отодвинулось, отчего у профессора получилось такое впечатление, словно бы у него с носа упало в воду пен-

* Налим (*Здесь и далее прим. авт.*).

** Морской налим.

сне, но его несколько удивило то обстоятельство, что вместо аквариума и рыб, — а он ясно сознавал, что не оборачивался, — оказались швейцар и вешалка, и видел он их не целиком. Голова швейцара и верх вешалки находились где-то высоко над ним. Чтобы проверить это странное явление, он сделал несколько шагов в их сторону, но больно ткнулся носом во что-то твердое, похожее на стекло. Сбитый с топку и крайне встревоженный, по долголетней привычке своей к точному знанию, он и на этот раз не дал воли своему чувству и не потерялся.

— Или со мной что-нибудь от усталости, — предположил он, — или я в аквариуме.

Последнее было никак не объяснимо и совершенно нелепо, но следовало все-таки в этом убедиться. В искусственные кораллы кое-где были вправлены зеркальца, и профессор решил, что если он увидит себя в одном из них, то тогда так оно и есть: каким-то образом он попал в аквариум. Зеркальце оказалось близко, и не зеркальце, а довольно большое зеркало, и, к чрезмерному смущению профессора, оно отразило не его — почтенного ученого с высоким лбом и начинающими сидеть висками, — а самого заурядного *Perca fluviatilis** с тупым взглядом круглых красноватых глаз.

— Неужели это я? — недоумевал профессор...

Достоверность факта утверждала бесполезность подобных вопросов, и профессору надо было или примириться, или что-нибудь предпринять. Если бы он знал, что это ненадолго, то был бы даже рад проследить на опыте некоторые из своих ихтиологических изысканий, но сидеть в этом глупейшем ящике — да и какой же он *Perca fluviatilis*? — а его книги, его лекции, — и профессор чувствовал, что начинает терять самообладание. Надо было дать знать о себе швейцару, чтобы он позвонил Добронравову, давнишнему другу профессора — милому и обязательному человеку. Профессор быстро поднялся наверх и высунул было из воды голову, но ощутил такую скверность, что решил этого больше не повторять. Тогда он занялся обследованием аква-

* Окунь.

риума, — побывал в гроте, под фонтанчиком, на самом дне, во всех углах, и по мере того, как все яснее сознавал свое рыбье положение, желание изменить его обесценивалось. Он уже знал, что такое воздух, да и не так было плохо в аквариуме, и, кроме того, стало совершенно очевидным, что все его шестнадцать томов — ничего не стоящий вздор. Оказалось, что дело вовсе не в том, каково назначение рыбьего пузыря, а в мироощущении, — и у рыбы оно было не менее сложным и разнообразным, чем у человека. Время теперь для него было лишь, как часть пространства, движение головой вниз стало одним из самых приятных, электрическая лампочка, расплывшаяся в зеленоватое колеблющееся пятно, потеряла свое точное значение, и с большим напряжением он припоминал ее форму — это пятно казалось одним из свойств воды, а песок, — каждая песчинка видна в отдельности — и какое богатство форм. *Asipenser ruthenus**, *Esox lucius***, *Gyrpinus brama**** — все это были его старые знакомые, к которым он относился, в лучшем случае, лишь с внимательным любопытством, а теперь ему предстояло выяснить их отношение к нему. Для этой цели он выбрал первого попавшегося одного с ним «вида», что-то сосредоточенно глотавшего в углу.

— Мы с вами одного оперения, — начал профессор. — Так как я здесь случайно и никого не знаю, то я хотел бы кое о чем вас спросить.

Профессор сказал это без малейшего затруднения, но лишь по ответу своего собеседника понял, как он теперь обходится без слов, — кое-какие еле заметные изменения в цвете глаз, колебанье плавников и несколько пущенных изо рта пузырей.

— Я люблю красных червей, а их нет, и тины нет и травы.

Хотя это было совсем не то, о чем хотел спросить профессор, но почувствовал, что он тоже любит красных чер-

* Стерлядь.

** Щука.

*** Лещ.

вей, и, конечно, жаль, что их нет. «Я же в аквариуме», — припомнил он, но уже не мог в точности представить себе, что такое аквариум. Из прошлого остались какие-то намеки, смутные образы, словно бы он видел запутанный сон и наполовину его забыл...

— Здесь очень мелко, — продолжал тот, — а дальше и плыть некуда, вода замерзла, — и в подтверждение своих слов коснулся плавником стекла, — и никогда в такое время не бывает дождя, а тут все идет и идет.

Профессор взглянул наверх.

Вода от фонтанчика искрилась, зыбилась, трепетала, и профессору казалось, что это и на самом деле дождь.

— Много нас понабилося.

— Да, тесно, — согласился профессор.

— Лед все-таки скоро должен сойти, и мы сплавим в камыши, там всегда есть красные черви, — и он рассказывал, как хорошо весной, когда схлынет мутная вода.

— А во время половодья надо знать места, где стоять, а то меня позапрошлую весну так пошвыряло, что я еле выбрался... Мы стояли под корягой, и нас испугала льдина. Кинулись во все стороны, и я попал в такую муть, что глаза закололо; хорошо, что как-то опустился на дно, забился под камень и выждал, не то занесло бы куда-нибудь в яму, а потом, когда вода сойдет, и останешься на грязи. Теперь, как поломается лед, только в эту дыру и спрятаться.

Профессор взглянул на грот и согласился, что там, правда, будет всего безопаснее, но в это мгновение наверху взбултыхнулось, зашумело и не успевшего увернуться его собеседника что-то ловко подхватило и повлекло из воды. Не зная, как объяснить такое странное исчезновение, профессор в большом страхе забился в грот. Несколько раз подымался наверху шум, но профессор затаился, не выглядывая. Наконец, когда все успокоилось, он с осторожностью показался из своего укрытия.

Между рыбами шел крайне тревожный обмен впечатлений.

— Это он.

— Как быстро.

— И какой был шум.

— Никогда я этого не забуду.

И вдруг опять все всполошились...

Кто-то толкнул профессора, и он увидел прямо перед собой непонятные жуткие клеточки. Не помня себя, метнулся вниз, но они сейчас же появились справа и еще ближе — никогда он не чувствовал такой беспомощности. Почти схваченный, как-то выскочил и нырнул в угол, но тут его прижало к песку, перевернуло несколько раз и, обессиленный, теряя все мысли, он решил, что это конец.

— Ну, что, вам лучше?

Профессор увидел, что перед ним стоит какой-то человек и дает ему нюхать из пузырька нашатырный спирт, а он сидит на стуле, жилет расстегнут, и на голове компресс.

— Часто с вами такие припадки?

— Нет — в первый раз.

— Боли не чувствуете — не ушиблись?

— А я упал?

— И основательно.

Профессор снял компресс, вытер лоб носовым платком и внимательно поглядел на аквариум. Падали мелкие брызги, рябили воду, и чуть вздрагивал плавающий сачок. . . .

Уважаемый читатель, я вижу недоумевающее лицо Ваше. Возможно, что Вы даже рассердились на меня за то, что я занял Ваше внимание столь несуразным вымыслом. Но если Вы прочитали рассказ до конца, а я уверен, что прочитали, потому что Вы любопытны и с первых же строк начали недоумевать, то не оправдан ли я тем самым перед Вами? Конечно, я мог Вас познакомить с профессором в обстановке, более для этого подходящей, и мое отношение к науке может показаться Вам оскорбительно-легкомысленным, но, право же, в описанной мною истории что-то есть, с чем надо согласиться, а если это ускользнуло от Вас, то я и тем доволен, что развлек Вас, позабавил, словно бы бросил в Вас горсть конфетти — а это кстати — теперь масленица, и сегодня Карнавал.

ПАУК

Это началось с первого же дня нашего сожителства. Утром Сергей ко мне переехал, а вечером я уже думал, как от него избавиться. У нас были поверхностно-приятельские отношения, и то, что я предложил ему поселиться вместе, произошло помимо моего желания... Он так стеснительно-вкрадчиво завел об этом разговор, что у меня не хватило решительности ему отказать.

Сергей привез с собой подушку в подранном ветхом пледе и пару облупившихся чемоданов. В одном у него находилось белье и все прочее для домашней надобности, что он с кропотливой аккуратностью попрятал в комод, а в другом — книги и коллекция пауков (Сергей был естественником). Разобравшись, он потер левой рукой шею, о чем-то подумал и сел на постель.

— Значит, будем жить.

— Будем, — отозвался я, заваривая чай.

— Ты, кажется, полторы ложки положил.

— А что?

— Богато.

Мутно-серые глаза его остановились на моей завертывавшей кран руке, и я ощутил в ней странную неловкость: она как будто потяжелела.

— Неудобно, что в квартире один ход.

— Отчего? Кухня в конце коридора.

— Дело не в кухне, а на случай пожара.

— Ерунда какая! Тебе какой?

— Я сам налью.

Он быстро подошел к столу и остановился, держа руки в карманах брюк.

Налив себе, я передал ему чайник.

Руки у него были торопливые; длинные тонкие пальцы не сгибались, а вернее, скрючивались. Он сел, несколько отодвинувшись от стола, наливал в блюдечко и тянул с него медленно, сосредоточенно.

— Священнодействуешь, — сказал я.

Не ответил.

Я глядел на него очень внимательно. Было в нем что-то такое, от чего я начинал испытывать некоторое беспокойство. Каждое сделанное им движение устремляло его всего...

Короткий пепельного цвета бобрик, втянутые, начисто выбритые щеки, некрасивые торчковатые уши.



Он казался мне мало похожим на того, каким я его знал до этих минут.

Высокий выпуклый лоб теперь был едва ли не больше всего лица...

«Положительно, он изменился, — думал я, — и как он сидит, — растопырился, сгорбился...»

У меня явилось желание ударить его по спине, чтобы он выпрямился...

— А ты довольно скучный собеседник, — заметил я после продолжительного молчания.

— Я и не обещал тебе быть веселым.

Когда мы отпили чай, я лег на постель, а Сергей поставил перед собой на стол ящик с пауками, снял с него стекло и стал приводить коллекцию в порядок...

Он еще больше растопырился и сгорбился. Тут-то у меня и мелькнуло поразившее своей верностью сравнение.

Это же паук...

Я даже ощутил нервный озноб, так разительно явно было его сходство с пауком.

То, как он шевелил пальцами, как порывисто двигался и вдруг застывал, как собирался в серый, словно пыльный комок, — все подчеркивало мое впечатление.

«У него тужурка совсем особого серого цвета», — думал я.

Словом, чем подробнее я его разглядывал, тем цельнее убеждался, что Сергей — паук.

Было похоже на то, что я схожу с ума.

Сделав с пауками, что было надо, он оделся и ушел.

Вернулся поздно ночью.

Я ждал его, но когда в коридоре слышались его осторожные, крадущиеся шаги, — притворился спящим.

Он вошел, чиркнул спичкой и, сейчас же погасив ее, бросил на пол.

Раздевался он очень проворно, часто затихая, прислушиваясь.

Лег и спросил вполголоса:

— Спишь?

Я промолчал.

Он лежал спокойно, словно затаившись, и это усилило мое внимание.

Прошло с полчаса, если не больше. Я находился в напряженном, смутном ожидании. Что-то должно было произойти, это чувствовалось совершенно ясно. Привыкшие к темноте глаза различали стоявший у постели стул, комод...

Я не решался глядеть в сторону Сергея и взглянул лишь в то мгновение, когда понял по странному шороху, что он ползет ко мне по полу.

Я приподнялся на локте. Сердце билось тяжело, испуганно. Невероятнее, страшнее всего было то, что я его не видел.

— Сергей! — крикнул я.

Шорох стих.

Та тяжесть от его взгляда, которую я почувствовал в руке, когда заваривал чай, теперь, как густая жидкость, разливалась по всему моему телу. Я не мог двинуться, пошевелиться.

— Сергей, слышишь, Сергей! Что ты делаешь...

— Что такое? — спросил он как бы со сна.

— Что ты ползаешь?

— То есть как ползаю?

— По полу...

— Ты пощупай себе голову, должно быть, у тебя жар?

Я глупо недоумевал.

— Я не спал и прекрасно слышал.

— Ну, спи, спи, после поговорим. Спать хочется.

Он шумно повернулся, давая этим понять, что не хочет говорить.

В голове путались самые несуразные мысли...

Надо было что-то предпринять, но я не знал, что...

Тяжести в теле уже не было, но выступил пот, и я чувствовал неодолимую слабость и желание заснуть.

— Слушай, Сергей!

— Что тебе, наконец, нужно! Будишь среди ночи...

— Мне кажется... Я не умею тебе объяснить...

— Ну, что ты пристал, — перебил он. — Если у тебя бессонница и растрепаны нервы, тогда обтирайся из ночь холодной водой и веди нормальный образ жизни. Обратись к доктору, наконец...

— Я зажгу лампу.

— Зажигай.

Лампу я не зажег и, несколько успокоенный его ответом, скоро заснул.

Когда я открыл глаза, в окно лучилось морозное солнце, и на крыше соседнего дома радостно белел и искрился выпавший за ночь снег.

Сергея уже не было.

Припоминая наш ночной разговор, я стал переодевать рубашку, и уже готов был согласиться с Сергеем, что я по-

следнее время изнервничался, и потому все произошло, как вдруг заметил на руках и на груди прилипшие к телу серые волокна...

Паутина.

С непередаваемой растерянностью я снимал ее пальцем и разглядывал на свет.

За этим занятием меня застал Сергей.

Вид у него был утомленный.

— Что ты делаешь? — спросил он.

— Паутина какая-то пристала, не понимаю, откуда.

Он подозрительно промолчал.

Я ушел на лекции, оставив его разбиравшим письма, а, вернувшись, нашел его сидящим на комод.

Он, видимо, не ожидал моего появления и очень смутился.

— Что это ты забрался...

— У меня глупая привычка... Я люблю сидеть, свесив ноги.

Я вынул коробку папирос и хотел закурить...

— Ты говорил, что бросил? — заметил он.

— Соблазнился... Десяток выкурю и опять брошу.

— Не люблю я дыма...

Паук, подумал я, настоящий паук. Ишь как сидит...

— Я открою форточку.

— Да уж, открой...

Сидел он на комод довольно долго, и это неестественное положение его меня раздражало.

Я чувствовал, что мы друг другу мешаем. Мне некуда было идти, и ему, должно быть, тоже... Мы томительно молчали и избегали встречных взглядов.

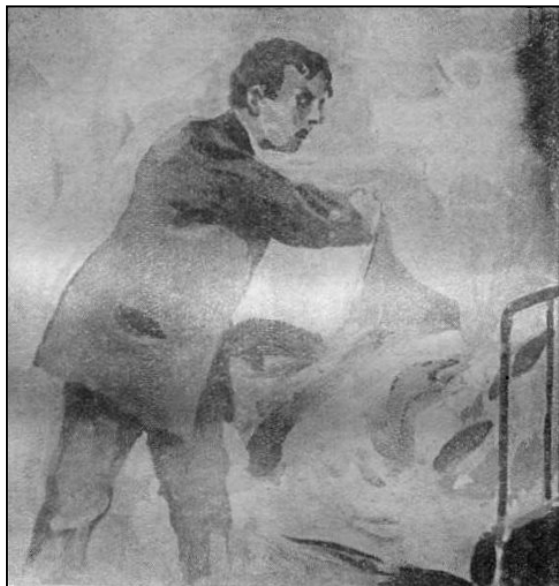
Легли спать поздно, он, заметно, хотел меня пересидеть, но я пил крепкий чай и читал какой-то глупый роман, решив не ложиться хоть до утра, если он не ляжет раньше меня...

Лампу я оставил гореть, прикрутив немного фитиль. Свет ее меня успокоил, рассеял, и я скоро заснул.

Меня разбудил придушенный женский крик.

В комнате было темно.

За стеной билась и стонала старуха-хозяйка...
— Пусти! — о-о-ох! пусти!!...
— Сергей! Ты здесь, Сергей?



Никто не отозвался.
— Сергей!.. — и я стал шарить под подушкой спички.
Дверь неслышно отворилась, и он ловко шмыгнул к своей постели.

Я встал, зажег лампу.

Сергей лежал спокойно и дышал ровно.

— Ты же не спишь, что ты притворяешься! — и я грубо дернул с его плеча одеяло.

Он поднял голову, повернулся ко мне лицом, и наши глаза встретились.

Никогда у меня не было такого ощущения ужаса, как в то мгновенье. На меня глядел паук — ничего человеческого не было в вытянутом, напряженном лице и мутном, синевато-поблескивавшем взгляде... Я ничего ему не сказал,

оделся и просидел всю ночь за столом с помутненной головой, вздрагивая от каждого шороха.

Утром в комнату постучалась хозяйка с завязанной белым платком шеей. Она была крайне взволнована; по ее доброму полному лицу блуждал испуг.

— Съезжайте, Александр Степаныч. Не могу я вас больше держать...

— Почему, что такое случилось? — деланно удивился я.

— Съезжайте, сделайте милость, а то в полицию заявлю.

— Сергей, что ты об этом думаешь?

— Сумасшедшая баба. Что же тут думать. Надо съехать.

— И разъехаться, — добавил я.

— Хорошо, — безразлично согласился он. — Как хочешь.

Хозяйка постояла, пожевала губами, как бы намереваясь еще что-то сказать, но раздумала и ушла, поправляя на шее платок, из-под которого краснело пятно, как бы от укуса.

СКОЛОПЕНДРА

I

Кое-как рассовав вещи и наскоро переодевшись, еще чувствуя нытье в коленях после десятичасового сидения в экипаже, Сергей успел спуститься до темноты в парк к морю.

Чопорные, словно отполированные магнолии, застенчивые, как бы чем-то смущенные туи, молчаливники-кипарисы, забытые временем скалы с расползшимся по ним огненно-зеленым плющом, — все так полно обрадовало Сергея, что он ощутил что-то в роде нежной грусти.

На нижней бережной аллее и на пляже было много гуляющих.

Шум прибоя заглушал разговоры и хруст шагов по гравиию.

Сергей прошел к купальням, красные крыши которых мешали цельности кипучего морского простора, поднялся на верхнюю дорожку и, заметив неподалеку выдавшуюся в море плосковерхую скалу с железными перильцами по краю, направился к ней.

Узкая, крутая тропка, несколько ступенек, — и он на скале. Две незанятые скамейки. Около них в выбоине — тонкое водяное зеркало, должно быть, от недавнего дождя.

Сергей остановился, глядя на волны. Отсюда они казались выше и грознее, уверенно шли, струили, качали зеленую мглу и с многоголосым ревом разбивались о тупой выступ в пену, брызги и пыль. Прямо не было им предела и чудилось, что их рождает небо, а слева, вдаль, тянулась узкая полоса мыса, на конце которого лениво мигала золотая точка зажженного маяка.

Руки Сергея опустились на перильца, и по его спине пробежал холодок веселого, буйного захвата.

Оглянулся назад. На скамейке около него сидела дама — темно-лиловое платье, желтый с черными пятнами шарф.

Худое спокойное лицо, широкие и как будто наведенные углем, презрительно согнутые брови. И большие, с глубоким еврейским разрезом глаза, цвет которых трудно было определить: такие длинные затеняли их ресницы.

Это неожиданное соседство привело его в замешательство; покраснел, отвернулся, с минуту поглядел еще на море и пошел со скалы — не подумал, красива или нет, но удивление, радостная тревога и странное любопытство понудили его оглянуться.

Дама шла обратно. Концы ее шарфа почти касались земли, несколько раз он желтым пятном мелькнул из-за зелени и скрылся.

Постояв некоторое время в нерешительности, Сергей прямоком сбежал по склону, чтобы опередить ее — но аллея, раздваивающаяся в том месте, где он спустился, была уже пуста. Свернул наугад налево, сдерживая дыхание, быстро дошел до двух лежавших одна на другой, угрожающе нависших скал и, видя, что ошибся, заспешил назад — на правую дорожку.

«Не могла она так скоро уйти», — соображал он, крайне волнуясь, но, пройдя шагов сто, убедился, что ее нет и здесь.

От аллеи, в разные стороны, стремились срывистые тропки.

Уже мало надеясь, что удастся догнать, Сергей стал подыматься по одной из них. Приятно пахло сыростью, мятой и можжевельником. Сплетенные над головой ветви оберегали неразрывную тень. Там, где они были гуще, она как будто плотнела и тяжелела. Отдалявшееся море шумело все глуше и размереннее.

Стало ясно, что след потерян, но Сергей задумался и шел, не замечая того, куда вьется тропка.

Она с полчаса хитрила, делая неожиданные повороты, и вывела через прощелину между двумя подпорными стенками в узкий пыльный переулочек, в конце которого, в неуверенном свете, лучившемся из окна какого-то магазина, двигались силуэтные фигуры.

Сергей удивился, что так быстро стемнело, — забыл, о чем думал, словно проснулся, — лишь осталось томление.

Дача, где он снял комнату, стояла далеко над морем, за ней уже построек не было — начинались виноградники.

Придя домой, почувствовал, что проголодался, зажег свечу, выбрал из лежавших на окне помидоров самый большой, разрезал пополам, посолил и, отломив кусок булки, вышел на балкон.

Внизу, по горе, до густо-темневшего парка, — звезделись огни дач. С правой стороны они загибали, и у самого моря ярко горел голубоватый шарик ацетиленового фонаря. Там была гостиница. Море, напоминавшее цветом аспидную доску и сливавшееся вдаль с небом, дышало ровно, медленно и глубоко.

Сергей ел стоя, глотая большие куски и улыбаясь, — потому что хорошо иметь проворные челюсти, зубы, которые могут перекусить гвоздь, и крепкое, молодое тело.

II

Сергей проснулся поздно.

В комнате было так много солнца, словно в парнике.

По переплету рамы беспокойно ползала дочерна синяя, золотистая жужелица, а на подоконнике кроваво алели помидоры. Сергей долго глядел то на них, то на жужелицу, испытывая какое-то большое тихое удовлетворение. Сначала оно было бездумно, но незаметно пролучилось сквозь него воспоминание о вчерашней встрече, и он начал одеваться, а через несколько минут уже спускался в парк в новой чесучовой косоворотке, чиркая по гравию только что купленной при входе кизиловой палкой.

Исшагал вниз и вверх чуть ли не все аллеи в нетерпеливом ожидании, что вот сейчас на этом или на том повороте зажелтеет ее шарф, и, хотя этого не было, не терял уверенности, — так ликующе пылали небо и солнце.

Пробродил в парке до обеда, а встретил неожиданно в писчебумажном магазине, куда зашел по дороге домой. Хотя она была на этот раз в белом, без шарфа, и стояла к не-

му спиной, он сразу же узнал ее по волосам: иссиня-черные, они казались тяжелыми, литыми из металла.

Из ее разговора с приказчиком понял, что она меняет книги. (При магазине была библиотека).

Пока ждала книг, он, испытывая робость и смущение, выбирал открытки, откладывал в сторону, какие попадались под руку, но делал вид, что внимание его занято этим всецело.

Высокая и тонкая, она легко и четко постукивала каблуками.

Стараясь ступать возможно тише, он глядел на ее волосы, — вспомнил о жужелице, которую видел утром, — у той был такой же синий отлив.

Поднимались из переулка в переулок. Миновал последний ряд дач и зазеленели виноградники.

Сергей колебался, идти ли ему дальше. Теперь они были одни и его присутствие становилось заметным. Отстал настолько, чтобы лишь не терять ее из виду.

Она свернула от виноградников к корежистым, перекрученным можжевельникам, прошла между ними и скрылась.

Поднявшись до того места, он увидел широкую котловину, посреди которой стояла расщелившаяся скала, похожая на сломанный зуб. Серые острые глыбы, осколки и кучи щебня указывали на то, что здесь была каменоломня.

На более выгнутом краю котловины рос старый карагач. В тени его на траве белело платье.

Солнце жгло. Раскаленная каменоломня обвевала жаром, как печь. Цикады стрекотали так, что казалось, — это звенит зной. Все замерло. Воздух над горами был ослепительно чист; они как будто придвинулись и каждый излом, каждая трещина их ясно обозначились. Море внизу необозримо голубело. Крохотным белым лоскутом скользил по его глади парус.

Взгляд Сергея невольно отвлекался от окружающего в сторону карагача.

— Идите сюда!

Сергей подумал, что ему это послышалось, но, облокотившись и подперев рукой голову, она глядела на него. Не

мог из-за расстояния и солнца увидеть выражение ее лица. От радостного удивления потерял волю и сообразительность, вместо того, чтобы пойти по краю котловины, бежал вниз, — прохрустел по режущему щебню и стал подыматься на противоположный скат. Ноги скользили, катились камни, приходилось становиться на четвереньки. Стыдился своего смешного положения, но упорно лез.

А сверху падали звонкие, насмешливо подзадоривавшие слова:

— Тише... Оборветесь... Так... Теперь за тот сук. Ногуту подберите.

Еле добрался, трудно дышал, вытирая носовым платком разгоряченное потное лицо.

Подняв брови, она откровенно разглядывала его и тонко, странно улыбалась.

— Садитесь... — в ее голосе была веселая непринужденность и говорила она так, как будто приказывала. — Какой вы длинный.

Сергей опустился рядом с ней на траву и снял фуражку.

— Вы на каком курсе? — спросила она, скользнув взглядом по околышку.

— На первом.

— Заметно... Весь как игрушечный, и губы у вас еще не мужские. Вы за мной шли?

— За вами, — поалев до волос, понудил себя сознаться Сергей.

— Я так и подумала, когда вы там сидели. Здесь никто не бывает.

Это было сказано просто, словно речь шла о самом обыкновенном.

— Я вас с утра в парке ждал, — понемногу овладевая собой, смелел он, — вы замечательно красивая.

Она засмеялась, чуть отклонившись назад. Смех у нее был сдержанный, суховатый, что-то как будто звучало в нем взятое от камней и зноя.

— А вы презабавный. Только не вздумайте в любви объясняться, а то прогоню. Лучше почитайте вслух, — подав ему

книгу, она легла навзничь и, вытянувшись, скрестила на груди руки.

— Вам неудобно. Положите голову на корень. Погодите, я вам травы нарву.

— Ничего. Я так люблю.

Сергей раскрыл книгу. Смущение его прошло.

— Читать?

— Да, я слушаю...

Это был роман Гюисманса «Наоборот».

Сергей читал выразительно, но вполне сосредоточиться не мог. Видел вскользь, как она кусает травинку, и путались строчки.

Когда тень от карагача, удлинившись, поползла по ска-ту, маленькая узкая рука легла на страницу.

— Довольно. Мне пора идти купаться.

— А мне можно вас проводить?

— С условием, что вы меня не будете там ждать...

По дороге в парк они разговорились, как давнишние друзья.

Когда она спросила, один ли он приехал в Крым, Сергей с ребяческой готовностью рассказал, что эта поездка была обещана ему отцом в случае, если он выдержит экзамены, что хотелось почувствовать свободу и увидеть море. Его уговаривали ехать к дяде на Кавказ, но он настоял на своем, чтобы быть одному. Она слушала, улыбаясь и продолжая заметно его разглядывать.

У купален они расстались.

Он узнал лишь, что она караимка и зовут ее Руфь.

III

Их встречи стали ежедневными.

Теперь вошло в обыкновение, что он менял для нее книги, дожидаясь у купален, носил ей цветы, сушил для нее на солнце крабов и исполнял мелкие поручения.

В ее отсутствие он, кроме как о ней, ни о чем не мог думать и, когда видел ее, томительно боролся со своей нерешительностью. В ее отношении к нему не было и намека на возможность большей близости.

Засияли месячные ночи со стрельчатыми тенями от черных кипарисов, с дремотным осеребрением моря и располагающей к молчанию зачарованностью смутно очерченных скал.

От запаха роз и каприфолий воздух казался осязательно-телесным.

Гуляли часто до восхода солнца и каждый раз, оставшись один, он думал о ней другое, — совсем не то, что накануне.

Она ничего не рассказывала о себе, и он не пытался спрашивать. В разговоре они касались самых различных предметов. Его молодое волнение и горячность, видимо, занимали ее, потому что в наиболее яркие минуты их проявления она замолкала и наблюдала за ним со своей обычной тонкой улыбкой, в которой сквозило поощрительное любопытство.

Как-то после прогулки, возвращаясь к себе поздно ночью, он внезапно решил, что напишет ей и, придя домой, не снимая фуражки, сел за стол и быстро заполнил почтовый лист со всех четырех сторон.

Письмо начиналось со слов: «Я делаю безумство» — было витиевато и запутано, но убеждало в подлинности сильно оо чувства.

Нерешительно запечатал и пошел опустить в ящик.

Целая, заметно полинявшая луна уползала за нагой, четко означившийся на ясном небе, кряж Яйлы.

В переулке было тихо. Письмо мягко упало в ящик.

В раздумье, уже испуганный тем, что сделал и обеспокоенный неизбежностью завтрашнего дня, он медленно направился к даче.

Когда отворял калитку, внимание его было привлечено непонятным движущимся пятном на стене каменной ограды.

Он подошел ближе и, нагнувшись, чуть не притронулся рукой, но сейчас же отдернул ее с чувством омерзения и страха. — «Сколопендры». Их было много, длинных, скорлупчатых и желтоногих, собравшихся для чего-то вместе. Они шевелили головками, словно совещались. На белизне камня в чуть зеленоватом, предутренне-бледном лунном свете их роговидные хвостики, перехватки между скорлупками и коленца тонких ног были отвратительно явственны.

Отойдя на несколько шагов, Сергей поднял с дорожки камень и бросил им в стену.

IV

Они шли по шоссе.

Тяжелая, ржавая луна подымалась из-за мыса, и посреди моря зыбилась золотая тропа.

По обе стороны шоссе то курчавились виноградники, то корежились вперемежку с можжевельниками горные сосны, Бог их знает как питавшие свои защемленные и наполовину выпиравшие наружу удавовидные корни.

Лиловели неприступные срывы, на которых не было никакой растительности.

Запах сухой пыли, потекших смол и морских трав возбуждал и томил.

— Ваше письмо ничего не прибавило к тому, что я знала, — спокойно роняла она, стигая в руках обезлиственный дубовый хлыстик, отчего концы ее желтого шарфа то укорачивались, то удлинялись. — Вам девятнадцать лет и вы должны кого-нибудь любить, но так любить вы будете еще много раз...

Она сделала ударение на слове *так*.

— Нет, уверяю вас, — с большой искренностью перебил он ее.

— Теперь это вам так кажется, но придет время и вы убедитесь, что я была права. Подарите вашу любовь какой-нибудь чистой девушке, похожей на вас, и останемся друзьями.

— Что вы со мной делаете! — воскликнул он, чувствуя себя бесконечно несчастным. — Я же вам говорю.

— И это лишнее. Вам надо успокоиться. — При этом она так улыбнулась, что слова ее потеряли свое значение.

«Можно взять ее руку и поцеловать», — подумал он.

Это было пределом его желания.

— Я не могу выразить. Но я, честное слово, не лгу. Я для вас все могу сделать.

— Как вы, милый, молоды. Какое это счастье.

Он заметил, что она подумала о чем-то другом, и замолчал.

— Поднимемся под карагач? Там, должно быть, сейчас хорошо, — словно позабыв, о чем они говорили, предложила она.

— Отсюда ближе всего мимо нашей дачи, — сказал он, не решаясь возобновить объяснение и тяготясь создавшейся неопределенностью.

Заговорила о фотографии. Ему казалось, что это она нарочно, потому что так поджимала губы, словно едва удерживалась от смеха.

Проходя мимо калитки дачи, вспомнил о сколопендрах.

— На этой стене я вчера видел сколопендру. Целое собрание — точно заговорщики. Хотите посмотреть, может быть, и сейчас есть.

— Давайте, посмотрим.

— За этим кустом, — говорил он, придерживая калитку.

— Ого! Видите, сколько?

Она стояла, не решаясь подойти близко.

— Не бойтесь, они не поползут...

— Возьмите одну и покажите... — усмехнулась она.

Это можно было понять, как шутку, но с решительным любопытством глядели на него чуть прищуренные глаза, спокойно отражавшие сразу же угаданную им мысль.

Было ли колебание? (После ему казалось, что было.) Гадливость и ужас заставили его сделать это так быстро, что, когда в руке хрустнуло холодное и извивающееся насекомое, он еще был неуверен, что поборол себя.

— Бросьте! Бросьте! — испуганно крикнула она.

Жгучая, колющая боль заставила его разжать руку. Бледный и растерянный, он взял большой палец в рот и стал из него высасывать с таким видом, словно был виноват, что ему больно.

— Глупый, — и поцеловала в шею.

Что было после, что она говорила, как дошел до карагача, как, забывая боль в горевшей распухавшей руке, отдавал свое тело неизведанным ласкам — все странно спуталось. Он лежал у себя в комнате, на постели, а около него, щупая пульс, сидел лысый серьезный человек в сером пиджаке.

— Вы доктор?

Но ответ застрял в беспредельном всепоглощающем шуме, от которого мутился огонек свечи и то появлялся, то исчезал.

— Вы здесь? — звал Сергей Руфь. — Вы здесь?

И тогда пред глазами мелькал шарф, желтый, как ножки сколопендры.

ПОРТСИГАР ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ

I

Иван Андреевич вошел в кабинет, едва владея собой. То, что случилось с ним по дороге в министерство, было никак не объяснимо и превосходило самую нелепую фантазию. Еще и теперь дрожали у него руки, и он чувствовал что-то вроде озноба. Действительно, что это такое? Или он сходит с ума?..

У портсигара прорезывались зубы.

В тот же день, как Нелли, его племянница, подарила ему этот, привезенный ею из-за границы, портсигар, он заметил внутри его, по краям, как раз около металлического ободка, небольшую шероховатость, но это тогда сейчас же улетучилось из сознания.

Портсигар был из крокодиловой кожи, изящный, вместительный и удобный.

На прошлой неделе в клубе за винтом ему показалось, что замеченная им шероховатость стала несколько резче, а на другой день утром появились какие-то странные бугорки.

К вечеру они покрупнели и как будто набухли. Сначала он думал, что это от сырости или, вообще, от каких-либо внешних причин, но, когда бугорки почти все приняли одинаковую форму и стали похожи на ряд прыщиков, он почувствовал неопределенное беспокойство и решил зайти в какой-нибудь магазин кожаных изделий и спросить, от чего бы это могло случиться.

Приказчик долго вертел в руках портсигар, водил по нему пальцем, встряхивал и, возвращая Ивану Андреевичу, сказал с очень дельным видом:

— Хороший портсигар, а это так, что-нибудь при выделке.

Но теперь Иван Андреевич знал, что это вовсе не при вы-

делке, а случилось нечто совершенно необъяснимое и недопустимое.

Когда он проезжал мимо адмиралтейства и, собираясь закурить, раскрыл портсигар, у него от неожиданности и испуга получилось такое впечатление, словно все в голове и вокруг перевернулось. Из каждого прыщика торчало по кончику острого беленького зуба. Потрогал пальцем, не оставалось никакого сомнения: у портсигара прорезывались зубы.

— Необходимо проверить... Вздор... — безуспешно успокаивая себя, бормотал он, семеня подпрыгивающей генеральской походкой по кабинету. Наконец, не выдержал, сел за стол на свое обычное место и нажал кнопку звонка.

Сгорбленный и невзрачный, он обыкновенно бодрился, что при внушительности и уверенности его вицмундира производило должное впечатление. Теперь же вид у него был незначительный и даже как будто помятый. Это навело явившегося на звонок курьера на мысль, что его превосходительство или с похмелья, или опять расстройство с ее превосходительством.

Иван Андреевич молча поманил его к себе указательным пальцем.

Тот подошел, несмело и неуклюже ступая, словно еще только недавно научился ходить.

— Это что? — спросил Иван Андреевич, раскрывая портсигар, и внимательно, недоверчиво уставил на курьера красноватые прищуренные глаза.

Тот не понял.

Его спившаяся, щетинистая, оплывшая образина выразила какую угодно готовность, но боязнь ответить невольно связала язык.

— Это что? — повторил Иван Андреевич, проводя пальцем по ободку портсигара. — Зубы?..

— Так точно, — неуверенно бормотнул курьер.

— Каким же это образом? — обращаясь больше к себе, чем к нему, продолжал Иван Андреевич. — На половой щетке зубы могут расти, на столе, на лампе могут?

Курьер колебался.

— Я тебя спрашиваю, — могут?

— Никак нет-с...

— А у портсигара выросли! Позови Анатолия Палыча.



— Значит, на самом деле... — недоумевал Иван Андреевич. — Невероятно. Зубы, настоящие зубы! — не угодно ли! Раз, два, три, четыре...

В кабинет, благодушно и чуть игриво улыбаясь, вошел Анатолий Павлович. Покровительствуемый очень влиятельным лицом, он делал карьеру, и Иван Андреевич — гроза для других, — был для него почти что своим человеком. Анатолий Павлович держался с ним не без почтительности, но позволял себе то поделиться свежей сплетней из высшего

света, то рассказать новый крепкий анекдот, а то и так просто присесть и выкурить папироску.

Кладя на стол бумаги для подписи и здороваясь, он сразу же подметил, что начальство не в духе. Его холеное, слегка потасканное лицо, усы колечком, франтовской, новехонький галстук, все выглядело пошловато, но было не лишено приятности.

— Тут есть одно прошение...

— Хорошо, после... — и Иван Андреевич протянул портсигар, предлагая папиросу.

Он ждал удивленного взгляда или вопроса, но Анатолий Павлович спокойно взял папиросу и, закурив, сел в кресло по другую сторону стола.

«Странно», — подумал Иван Андреевич.

— Вы не обратили внимания на мой портсигар?..

— Нет, как же?..

— А что вы про это скажете? — с полуусмешкой показал Иван Андреевич пальцем на воображаемые зубы.

— Вам, кажется, не нравится... Я не понимаю, что...

— Это же зубы, — вы потрогайте!

На лице Анатолия Павловича появилось тревожное недоумение, которое сейчас же заволокнула натянутая улыбка.

— Да, но я думаю, что это... — начал было он и запнулся.

— А я так ничего не думаю! У меня просто в голове не укладывается. Чертовщина какая-то! Говорят, у покойников вырастают ногти, но то все-таки хоть и мертвый, но человек!

Анатолий Павлович искоса взглянул на дверь и, вставая, спросил уже без улыбки и не совсем твердым голосом:

— Вы давно это заметили?..

— Нет, вчера еще зубов не было, но десны стали образовываться с прошлой недели.

— Да, да, удивительно! — берясь за ручку двери, бледнел Анатолий Павлович.

— Вы что?..

— Я сейчас, — и Анатолий Павлович исчез.

Иван Андреевич со всех сторон осмотрел портсигар, пожал плечами, защелкнул его и спрятал в карман.

«Возможно, что это какой-нибудь дурацкий фокус, — задумался он. — Нажимаешь, а оттуда выдавливается. У Нелли постоянно дикие выходки. Всегда она с какими-то потертыми господами и еще с собой приводит. Возьму и отдеру ее за уши, как девчонку».

Иван Андреевич принялся за дела, но не мог сосредоточиться, — мысли возвращались все к тому же и начинала разболеваться голова.

Мимо дверей заходили, слышалось шушуканье.

— Зашептались, — раздражался Иван Андреевич, — не надо было ничего говорить...

С трудом напрягаясь, он все-таки просмотрел половину бумаг, но вошел курьер и доложил:

— Ее превосходительство приехали!

Появление жены было в это утро второй удивительной неожиданностью. Никогда с ней этого не случалось. Если он зачем-нибудь бывал ей нужен, — она звонила по телефону. То, как она вошла и на него взглянула, показалось ему неестественным.

На меху ее шляпы и на боа таяли снежинки, спокойствие их таянья делало более заметным ее возбужденность. Она сказала, что ехала мимо к Светловым, забыла дома деньги, а ей надо на обратном пути кое-что купить, — поэтому она и заехала.

Это было очень правдоподобно, но Иван Андреевич только сделал вид, что поверил.

— А у меня, кажется, опять начинается мигрень!

— Надо на воздух — проехаться.

— Да, пожалуй...

Когда он проходил через канцелярию, от него не ускользнули быстрые, осторожно-подозрительные взгляды чиновников.

Садясь в экипаж, он чуть не вскрикнул, — так осязательно почувствовал, что портсигар шевельнулся в кармане.

К вечеру зубы выросли настолько, что пришлось убавить папирос.

Иван Андреевич был в полной растерянности. Портсигар стал для него таинственным темным существом. Что это существо думало делать дальше? Являлось желание как-нибудь от него избавиться, но едва он начинал об этом думать, как портсигар приходил в беспокойство — двигался, вздрагивал, выползал из кармана. От страха у Ивана Андреевича перехватывало дыхание и он отказывался от своего намерения.

Зубы, конечно, имели связь с тем крокодилом, из кожи которого был сделан портсигар, но Ивану Андреевичу становилось все более ясным, что и тут не без злого умысла, и он знает, с чьей стороны. Под него давно уже подкапываются. Еще бы, он им, как мозоль на глазу... Это похитрее бомбы, что и говорить.

«Подсунули там за границей этой дуре и думают меня свести с ума. Возьму и выброшу его в печку».

Портсигар вздрогнул, пополз и едва не вывалился на пол.

— А, ну, ну, черт с тобой... — похолодел Иван Андреевич. — Надо же выдумать такую подлость.

Пора было ехать в театр. Танцевала Мятлецкая. Вся воздушность — вся соблазн. Когда изумительно легко летали ее тонкие, как у подростка, ножки и пышный тюль юбок приподымался, дразня и обманывая, — у Ивана Андреевича отвисала нижняя губа и слегка краснела плешь.

В первом же антракте он являлся в уборную с цветами и восхищенными восклицаниями:

— Вы сегодня — ангел. Очаровательно.

Сидя на низком неудобном диванчике, откровенно скользя глазами по оголениям «ангела» и вдыхая запах надушенного тела, он размякал до последней степени и начинал беспомощно цепляться за разные нежные слова.

Если бы не история с портсигаром, настроение у него теперь было бы легкомысленное и довольное.

Решил больше не обращать на портсигар внимания и запереть его в письменном столе, но сделать этого не удалось. Только вынул его из кармана, как тот сам раскрылся и жутко сверкнул зубами. Он походил на раззявленную, угрожающую пасть.

Иван Андреевич в ужасе, с чувством гадливости, быстро его закрыл и рука с ним как-то сама собой опустилась в карман.

Ехал Иван Андреевич в театр без всякого желания, с ощущением смутной беспокойной тяжести. К тому же все наглухо заволокнул пригнетающий плотный затхлый туман, от которого как будто делалось кисло во рту.

Озлобленность у Ивана Андреевича была чрезмерная. «Еще посмотрим. Да, да!..» — мысленно грозил он, решая подробно расспросить Нелли, где и при каких обстоятельствах она покупала портсигар. Во всяком случае, он завтра же даст знать, куда следует. Портсигар арестуют и уже там (можно быть спокойным) найдут место, куда спрятать, а пока следует относиться как можно хладнокровнее.

В театр он поспел как раз к поднятию занавеса, отыскал в полутемноте свое место и, усаживаясь и вытирая платком намокшие от тумана усы, почувствовал себя почти как всегда: намного приподнято и приятно.

Радостно-красивые пестрые декорации восточной сказки, колдующая музыка, увлекательность замысла, все было не для него, а лишь так себе, между прочим, — он ждал Мятлецкую.

Вот, наконец, и она.

Он подался вперед и впился глазами.

Эти ножки, кажущиеся такими хрупкими, то быстро-быстро бегущие на носках, то вдруг весело вспархивающие, то застывающие в стремительном движении увлекли его и на этот раз, и он забыл решительно все.

Но вот упал занавес и в глаза слепительно ударило электричество; мешаясь с требовательным плеском ладоней, разноголосой бурей летят вызовы.

Иван Андреевич останавливается у барьера, отделяющего оркестр от зала, и так хлопает, что у него трясется го-

лова и вылезает галстук.

Она появилась.

Обольстительная улыбка и в меру благодарный поклон.



В эту минуту с Иваном Андреевичем произошло что-то странное; он побледнел добела, одной рукой схватился за барьер, другой за карман, задрыгал ногой и вдруг иступленно закричал так, что у него выкатились белки глаз:

— Поку-ше-ение!.. Укуси-ил!..



Рассказъ *Александра Рославлева.*

Ардальон Сергеевич чувствовал себя превосходно. Пряча лицо до усов в пушистый, пахнущий нафталином воротник енотовой шубы, купленной им утром в ломбарде, он весело думал о том, что от наградных осталось еще пятьдесят рублей, что в шубе вид у него прямо богатейший и что стоит она в три раза дороже, чем он за нее заплатил.

«Раз ты служишь в банке, — рассуждал Ардальон Сергеевич, — то должен одеваться видно! Это тебе не в земстве каком-нибудь, где можно сморкаться в галстук!..»

— Ты вези, брат, по-настоящему, не лукавь! — окончательно развеселившись, сказал он извозчику.

Мороз лютел. От лошади валил пар. Очки у Ардальона Сергеевича слегка запотели, и потому казалось, что огни улицы двоятся, расплываются.

С приятностью представлял он себе, как войдет в чистенькую переднюю, как его шумно встретят, как хорошо он поужинает и как остроумен будет с дамами. Но всего приятнее было знать, что обратят внимание на его шубу.

Чуть было не проехал мимо дома... Войдя в подъезд, небрежно распахнулся и поднялся по лестнице с солидной неторопливостью.

В передней его ждало некоторое разочарование. Хозяева, видимо, занятые гостями, не слышали его прихода — не встретили.

В столовой сидели за чаем.



С чувством припав к руке хозяйки и поздравив ее с ангелом, он бегло со всеми поздоровался, и все пошло обычным порядком. Сначала плохо вяжущиеся разговоры о том, о сем, а в общем ни о чем, потом стуколка по маленькой, а после стуколки ужин.

За карточным столом Ардальон Сергеевич вспомнил вслух, что он забыл в шубе портсигар, и вышел в переднюю. То же самое он проделал и с носовым платком, когда сажали его ужинать. И портсигар и платок были у него в брюках. На его забывчивость не обратили внимания, и маленькая хитрость не удалась. За ужином, после нескольких рюмок, он заговорил было о морозе и дороговизне мехов, но поддержки не встретил. Соврал, что у одного из приятелей украла пальто, но и это прошло незамеченным. Водка пилась как-то очень легко, и ему казалось, что он ничуть не пьянеет. Только к концу ужина все как будто немного сдвинулось с места. Почему-то решил, что он лучше и умнее всех, и ощутил благодушие неисчерпаемое.

О шубе забыл.

Говорил без умолку и все о вещах, о которых, думалось ему, стоит и очень стоит поговорить.

Встал из-за стола, слегка пошатываясь, но не замечал этого, не заметил также, что опрокинул стакан с пивом и, наступив на платье жене бухгалтера, оборвал оборку.

В гостиной опять сажались за карты, но Ардальона Сергеевича опять потянуло обратно в столовую, где остались за коньяком хохотун свиномордый акцизный и седенький, похожий на кролика старичок-антикварий. Он ввязался в их разговор, наливал им и себе, и, под конец, когда гости стали расходиться, у него в голове завертелась такая путаница, что с трудом разобрался — кто хозяева, где передняя и еле попал в рукава шубы.

— Вот это вещь! — похвалил акцизный. — Поезжай сто верст в пятьдесят градусов и как в бане.

— Д-да, шуба, — вяло мотнул головой Ардальон Сергеевич, и его выкачнуло на лестницу.

Держась за перила и останавливаясь, чтобы не потерять равновесия, кое-как сошел вниз.

На улице подбодрился.

Мороз заметно спал. Летел мелкий, частый снежок.

На извозчике Ардальона Сергеевича стало кренить в разные стороны. Сани поскрипывали. В брюхе у лошади хлипо-екало. Ардальону Сергеевичу казалось, что дома появляются очень странно, словно выныривают из-под земли. Ему было все равно куда ехать и то хотелось гаркнуть во всю мочь что-нибудь забубенное, то на сон позывало.

Достал портсигар. Долго раскрывал его. Сунул в рот папироску, но не тем концом.

— Пьян, как сто свиней в грязную погоду!

Ардальон Сергеевич от неожиданности выронил портсигар. Сказавший это глуховатый, густой голос принадлежал как будто ему, но было совершенно ясно, что говорил кто-то другой.

— Извозчик, ты говоришь?

— Никак нет.

— Говорю я — и не без основания.

Голос исходил не то из воротника, не то из-под меха шубы.

— Кто? Что такое?! — вскрикнув в страхе и растерянности, привстал Ардальон Сергеевич, но ноги не держали, и он упал на сиденье.

— Чего же вы, драгоценнейший, испугались? На свете вообще ничего страшного не случается: все имеет свои причины. Понимаете? Крючок и петелька, крючок и петелька...

— Черт возьми, но позвольте, кто же со мной разговаривает?! шуба?.. Шуба, ты или нет?

— Только отчасти.. Одной половиной шуба, а другой — часть человеческой души: Семен Семеныч Лосев.

— Какой Лосев?

Ардальон Сергеевич не знал, как себя вести. Было как-то странно разговаривать с шубой.

— Я-с, драгоценнейший, помещик, меня в Курской губернии любая ворона знает. Восемь тысяч десятин было! А вы имеете понятие, какая у нас земля? Чернозем, ил нильский, а не земля!

Нелепое свойство шубы заводить ни с того, ни с сего разговоры показалось Ардальону Сергеевичу жутко подозрительным. «Уж не сошел ли я с ума?» — подумал он, но то, что подумал это, и то, что окружающее сознавалось им как нельзя более ясно, убедило его в том, что мысли его в порядке и что он совершенно протрезвел.

— Все-таки, знаете, невероятно, чтобы в шубе осталась часть души.

— Да ведь я когда носил-то, чувствовал ее, а пришлось в ломбард тащить, так еще как чувствовал!

— Как же это с вами случилось?

— Преестественно, драгоценнейший. Картеж, чтоб ему пусто было. Игранул раз, другой, и пошло. Втянулся я в это грязное дело вот как, по горло. Последний рубль ребром...

— А где же вы живете?

Этим вопросом Ардальон Сергеевич думал поставить шубу в тупик.

«Пусть скажет, я сейчас туда поеду и узнаю: какой такой Лосев?» — решил он.

— Во всей вселенной, где приткнусь, там и живу. Есть на игру деньги — днем сплю, а нет — хвост пистолетом и шпарю как сукин сын. У того рванешь, у другого. И надоело это, хоть удавиться, а не могу...

Ардальон Сергеевич начинал испытывать к шубе чувство неприязни. Он понимал, что теперь полным ее хозяином быть не может. Она в любую минуту могла заговорить о чем угодно, и у него не имелось никакой возможности ей помешать.

— А ведь был случай, когда я почти решил бросить. Я раз убил четырнадцать карт подряд, и у меня все время было больше только на одно очко. Вы понимаете, на какой ниточке счастье-то держалось. Рехнуться можно. Так разыгрались нервы, что я целую неделю...

— Знаете, — перебил Ардальон Сергеевич, — мне неудобно, что вы со мной разговариваете.

— Это почему же?

— Сейчас мы с глазу на глаз... Извозчик — черт с ним, а если я с кем-нибудь, — меня могут принять за чревоуеща-

теля.

— Ха-ха-ха! За чре-во-ве-щате-ля! Ха-ха-ха! А ведь могут, ей-Богу, могут!

— Так вы.. Я прошу вас со мной не говорить.

— Ну это, извините, нахально .. Влез в мою шубу...

— То есть, это как же — в вашу?

— Конечно, в мою, а то в чью же? И пристала-то она к вам, как свинье пеньюар.

— Сами вы свинья! — вскипел Ардальон Сергеевич.

Ему было как нельзя более досадно, что он купил такую дрянь. Эта проклятая шуба грозила надеть крупный неприятностей. Хоть ни с кем не встречайся на улице. Да и, черт ее побери, может быть, она и одна разговаривает. Мало ли куда, бывает, попадешь: все вытрещит! И он пожалел, что погорячился. Надо с ней поладить.

— Послушайте!

— Ну-с.

— Я прошу меня извинить. Но вы войдите в мое положение.

— Ваше положение меня нисколько не интересует.

— Я не понимаю, чего ради ссориться? Нам постоянно придется быть вместе, лучше по-приятельски.

Шуба не ответила.

— Послушайте...

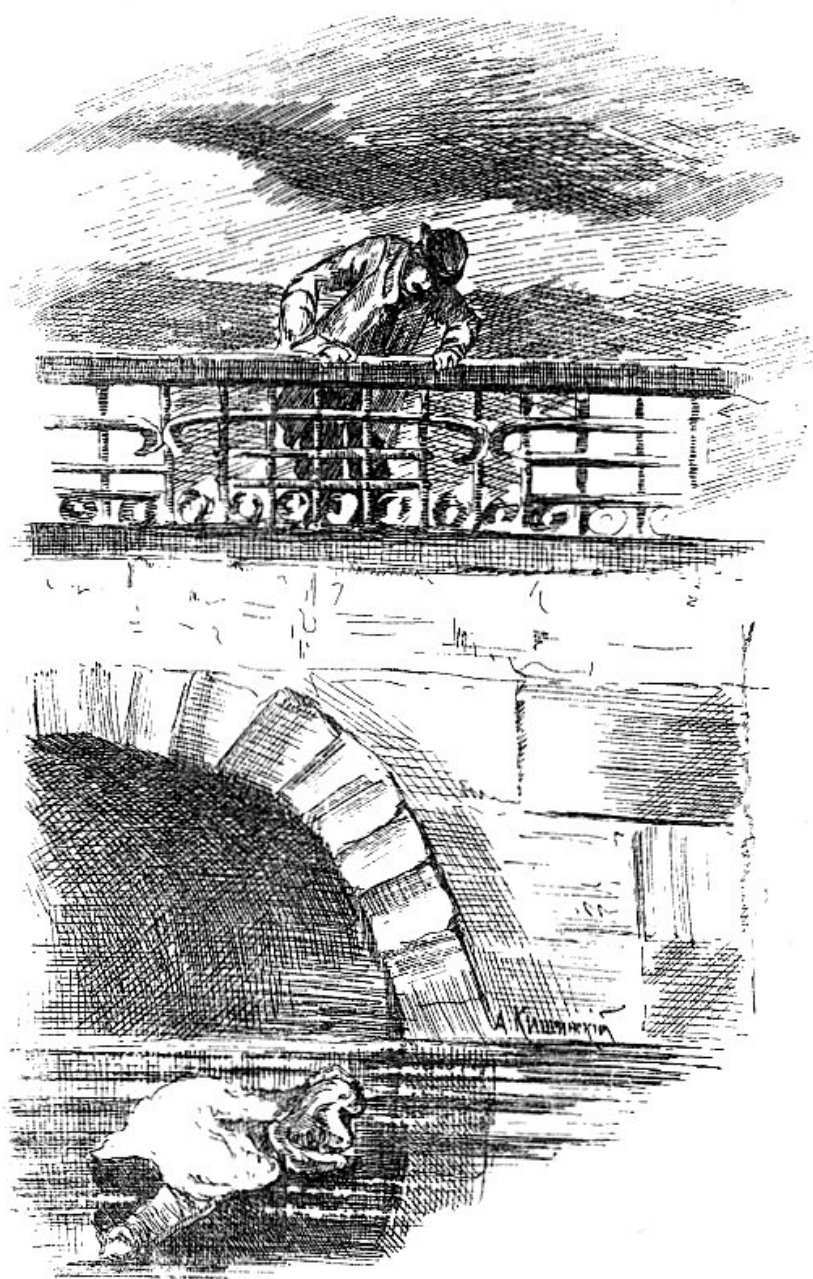
И опять не ответила.

— Значит, не желаете говорить?..

Шуба молчала.

Ардальон Сергеевич не знал, что делать. Зависимость его от шубы принимала крайне острый, скверный оборот. Оказывалось, что рассчитывать на твердое приятельство с ней рискованно. Оставалось одно — найти способ от нее избавиться. «Хорошо бы, конечно, продать, — решил он, — только как бы не вляпаться: возьмет вдруг да и заговорит, на зло заговорит, подлая. Такая может выйти чепуха, и не распутаешься... Еще в газеты попадешь. У нас прежде всего: точность и ясность. На то он и банк, и моргнуть не дадут, — с места слетишь. Просто бросить ее где-нибудь в переулке.

Открылась пустынная площадь, похожая от белизны



свежевыпавшего снега на громадный лист писчей бумаги. Справа, над незамерзшей почему-то, зловеще черной водой канала изогнулся тяжелой аркой мост.

— Сверни на мост! — приказал Ардальон Сергеевич извозчику.

— По этой стороне шестнадцатый! — полуобернувшись, показал тот заиндевевший щетинистый ус.

— А я тебе говорю — сверни!

На мосту Ардальон Сергеевич с извозчиком расплатился.

— Чего ж стоишь? Получил, и поезжай дальше.

— Грех, барин... Без покаяния-то...

— Поезжай, дурак!

Извозчик проехал немного шагом, оглянулся, перекрестился, хлестнул вожжами и затрусил в улицу.

Ардальон Сергеевич, спеша воспользоваться тем, что вокруг ни души не видно, быстро скинул шубу и ловко спустил ее за перила. Словно живая, махнула она рукавом и мягко бултыхнулась в воду.

— Так-то оно спокойнее! — сказал он вслух и побежал, еле держась на путавшихся вихлявых ногах.



КОЛОДЕЗЬ

Граф Давид Дуглас, унаследовавший от предков вместе с гордым и дерзким умом львиную горячность жестокого сердца, был столь ненавистен слугам своим, что даже седой Роб, преданность которого, казалось, не знала искушений, не мог смотреть ему прямо в глаза.

Возвратившись после года плавания в замок, усталый от приключений, пресыщенный и скучающий, граф целыми днями молчал; тяжелые брови его были сдвинуты, и резкая продольная морщина на круто выкаченном властном лбу внушала окружающим жуткое ожидание неотвратимых безумств.

Раз ночью, когда парк бурно шумел, тучи нагнетали и ворочались подобно каменным глыбам, и медливший в прорывах их тусклый осколок луны был похож на мертвый глаз, — граф сидел в узкой низкосводчатой комнате, что помещалась наверху в одной из башен и, не зная, чем занять время, как успокоить напряженные бессонницей мысли, разбирал оставшиеся после отца бумаги.

Кованная медью глубокая шкатулка быстро пустела, и с легким сухим шелестом падали на пол разноисписанные листы.

Не находя ничего примечательного, граф уже хотел оставить свое занятие, как случилось нечто, что привело его в немалое изумление: передняя стенка шкатулки, на которую он нечаянно надавил сверху рукой, повернулась на стержне... Стенка была двойная, и в отверстии ее оказался спрятанным кусок пергамента. Граф достал его щипчиками для сни-

мания нагара с фитиля лампы и с волнением крайнего любопытства принялся за чтение.

Запечатлевший следы огня пергамент начинался с конца какого-то латинского слова, — две буквы «nt», а далее следовало: «Спустившись в колодец, увидишь сбоку дверь. Ключ от нее найдешь в щели между камнями. В библиотеке...» На этом рукопись обрывалась. Граф перечитал ее еще раз и строго задумался. Вспомнил, что в детстве один из конюших рассказывал ему, что будто бы его прадед Эдмонд Дуглас был кем-то предательски брошен в колодец.

«Где же колодец? — соображал граф. — Вокруг замка нет ни одного... Библиотека... Прадед изучал магию, — может быть, в связи с этим...? Не знает ли Роб? Эта старая крыса недаром так молчалива», — и он поднес к губам серебряный рожок. Тонкий резкий звук его повторился где-то внизу в коридорах. Появился высокий, худой старик со спокойным лицом и седыми кудрями.

— Роб, — полувопросительно и хмуро встретил его граф, — я думал, ты уже спишь.

— Когда не спит господин, не должен спать и слуга.

— Расскажи мне, что ты знаешь о колодце? Не притворяйся непонимающим, я все равно заставлю тебя говорить...

— Если графу известно... — запнулся тот.

— Да, мне все известно, я хочу только знать, где он находится.

— В парке у «Старой» стены.

— Сейчас же возьми людей и идем!

— Я должен предупредить графа...

— Ты слышал, что я приказал, — перебил граф раздраженно.

Старик покорно вышел.

Спустя некоторое время граф в сопровождении восьми человек с факелами и заступами поспешно следовал за Робом, пробираясь сквозь цепкие заросли шиповника, медвяно пахнувшего и мокрого от мелкого, почти незаметного дождя. Ветер срывал шляпы и хлестал по глазам ветками.

Шли молча.

— Под этим камнем, — сказал, наконец, Роб, раздвигая

кусты.

Круглая, обзеленная мохом плита ушла наполовину в землю.

— Поднимите, — распорядился граф и в голосе его было сдержанное волнение.

Зазвенели о камень заступы.

Воткнутые в землю факелы порывисто бросали пламенем и путались, сгибались, вырастали, падали тени.

Граф, придерживая шляпу, следил за работой с нетерпеливым вниманием. Раздувало его рыжие волосы и плащ.

Когда плиту окопали и приподняли, в засиявшую из-под нее пасть колодца, наполнив его гулким грохотом, соскользнула заступ.

Роб наклонился с факелом и осветил колодец.

Шестигранный, выложенный корявым камнем, он казался бездонным.

— У кого веревки?.. — спросил граф, сбрасывая плащ. — Завяжите петлю... Крепче... Еще узел.

Он оборвал на рукавах кружево и отдал Робу шляпу. Слова его были резки и быстры.

— Опускайте медленно... Подайте факел. Если я им буду кружить, это значит, что надо тянуть назад. Роб, оставь веревку. Гляди за факелом... Отойдите... Так... Теперь спускайте, — и, уперевшись ногами в край колодца, он повис над его чернотой.

Начался спуск...

Вверху в яро-шумящей листве мигали алые отсветы, а снизу тянуло сырым холодком и запахом плесени.

Блуждающий взгляд графа тревожно искал двери и в руке, направлявшей факел, была неуверенность.

Шум парка отдалялся и тишина колодца становилась все цельней и загадочней.

Вдруг граф больно ударился обо что-то коленом. Повел факелом. Раскрытая железная дверь, и на ней вычеканено: сердце, над ним корона, а над короной три звезды — герб Дугласов. Под дверью полукруглый выступ. Граф стал на него и освободился от веревки.

Сердце его, как брошенный из пращи камень, устремилось навстречу тайне, и он вступил в хранилище. Это был высокий зал с коническим потолком и многими нишами; в них и на полу лежали в беспорядке свитки и книги, являвшие следы глубокой древности...



На спускавшихся с потолка трех цепях висел железный круг с утвержденными на нем свечами. В двух подсвечниках свечей не было, — догорели, и оплывший воск застыл неровной бахромой. У правой от двери стены стояло резное кресло, а перед ним подставка для держания книг.

Общий вид зала был предостерегающий...

Граф защемил факел между книгами и, подняв с пола первый попавшийся под руку свиток, развернул его. Цифры и кабалистические знаки. Сознание того, что найдено запретное, с помощью которого возможны самые упоительные достижения, преисполнило графа неизъяснимой радостью. Он с торопливостью нищего, неожиданно ставшего обладателем несчетных сокровищ, пробежал глазами свитки и перелистывал книги, но вскоре горячность уступила рассудку.

«Надо все это перенести в замок», — решил граф, но в то мгновение, когда он брал факел, веревка за дверью качнулась, быстро взвилась и исчезла...

Чудовищная догадка прожгла мозг и, хотя граф в мужестве не знал себе равных, на этот раз он ощутил неодолимый страх...

Ринулся к двери, шагнул на выступ и поглядел вверх. Там мелькал слабый свет и вдруг погас... В колодце спустилась подавляющая мгла...

Граф крикнул, но голос его упал слишком низко...

Бешенство и ужас овладели им.

Вернувшись в зал, проклиная тех наверху, он беспомощно заметался, ища выхода.

Наступил на что-то твердое... — кость... В углу ниши, в сидячем положении полураспавшийся костяк с желтовато-белыми волосами на черепе... Клочки истлевшего платья... покрывшийся ржавчиной клеймор...

— Прадед! Мой мудрейший прадед!.. — воскликнул он с полубезумной усмешкой и, отбросив факел, в беспредельном отчаянии упал на громоздкую грудку книг.

Так погиб последний из рода Дугласов, жертвой ненависти своих слуг...



Я курю опиум. Может быть, тем и объясняется все, что произошло со мной вчера вечером, но едва ли это так, — по крайней мере, в том, что я и не касался трубки — уверенность у меня полная, — а потом, мои опийные видения являются иначе, и мне хорошо известно томительно-тревожное чувство перед их возникновением, — а тут я был совершенно спокоен: лежал на диване и читал старый фантастический роман известного английского автора.

Когда живешь в гостинице, мало обращаешь внимания на обстановку, и какая-нибудь примелькавшаяся олеография ничуть не мешает, — а эти обои стали беспокоить меня с первого же дня: по голубому полю желтые круги с четким красным рисунком — аллея стрельчатых тополей, а в конце ее дом с колоннами, отраженный в шестиугольном бассейне. У художника был некоторый вкус, но похоже, что рисунок исполнен одним, краски же подобрал кто-то другой, и с явно издевательской целью — так безобразно это сочетание голубого с желтым, так аляповато выступают круги. Несколько раз взгляд мой, случайно остановившись на одном из них, напрягался до крайности, и у меня ныли виски, надо было большое усилие воли, чтобы закрыть глаза или отвести их в сторону. С того же началось и вчера. Только я как-то особенно отчетливо увидел дом, и отражение его в воде стало как бы живым. Изломалось, затрепетало, и так это было явно, что я ничуть не удивился сырой прохладе

пахнувшего мне в лицо ветра... Верхушки тополей упругогнулись, рваные облака летели очень быстро и падали крупные капли.



Подходя к дому, глядя на его темные окна, я думал, что в такие осенние вечера следует зажигать все лампы и нельзя быть одному. Все, что есть смутного и тревожного в нашей душе, отзывается на голос ветра, влечется в темноту, тянется к шевелящимся теням, как будто сама смерть безмолвно и печально следит, как в растерянности и смятении одно чувство сменяет другое, — а испуганная мысль прячется от них, не давая ни на что верного ответа.

Я поднялся по широким, тускло блестящим от дождя ступеням на террасу и отворил дверь, — ждал, что она окажется незапертой, или, вернее, хотел этого, — так оно и было.

Я ступил в белый просторный зал с фарфоровой люстрой и зеркалами в таких же рамах.

За залом последовал ряд комнат, полных сосредоточенной тишины, обставленных, насколько я мог разглядеть в сумраке, богато, но без излишества, с тонким и спокойным вкусом. В угловой, полукруглой, кто-то сидел у окна в глубоком кресле. Я остановился в нерешительности.

— Кто здесь? — встревоженно спросил сидевший. Голос был мягкий, почти женский.

Где-то я видел миниатюру, и вот изображенный на ней теперь глядел на меня теми же скорбными, несколько удивленными глазами, в которых была тайна — сила этой тайны и всему складу лица сообщила что-то: и озарение, как будто, и печаль, и строгую мысль.

— Не знаю, почему я вошел в этот дом — меня привело сюда необъяснимое желание что-то узнать.

Сказав это, я почувствовал, что, действительно, посещение мое не случайно.

— Я ждал вас... Вы должны были прийти. Этой ночи я бы не мог пережить один. Садитесь здесь, ближе, — и он показал на кресло подле себя.

Его беспокойство передалось и мне, и так жутко, пристально глядел он на бассейн, что я спросил:

— Что вы там видите?

— Вы заметили — в доме никого нет, — как бы очнулся он, — это после того, как они узнали, но я расскажу, только вы должны обещать мне, что останетесь. Невероятно, что я еще не сошел с ума.

Подперев рукой голову, он устало сомкнул веки.

— Как спутаны мои чувства, — помолчал и начал почти спокойно, но как будто сам с собой говорил, таким рассеянным был его взгляд, — наше сердце и для нас самих не менее загадочно, чем для других. Оно раскрывается лишь по мере того, как мы любим, ненавидим, страдаем или радуемся, и если бы вы встретили меня два года тому назад, то теперь бы я вас удивил. Избалованный жизнью, я был очень самоуверен, ничто не казалось мне настолько ценным, чтобы принять вполне, и немногие, с кем сводила меня

судьба, могли считать себя в числе моих знакомых. Женщины не занимали моего внимания надолго. Одних я находил забавными, других острыми, и только. Пожалуй, наиболее ярким из моих чувств тогда было увлечение стариной. Меня знали все антиквары. Антикварная лавка, это — целый мир самых неожиданных и волнующих откровений. Но некоторые вещи, как я теперь убедился, помимо их красоты еще и живут. Взгляды, прикосновения, все это не бесследно и дает вещам силу, которая оказывается иногда роковой. На дне этого бассейна лежит камешек, и все, что произошло, как вы увидите, совсем не игра случая. Антиквар, ценивший во мне знатока и выгодного покупателя, чтобы сильнее поразить меня, незаметно положил эту драгоценность рядом с только что приобретенной мною фарфоровой фигуркой. На изумруде с миндалину величиной была вырезана голова Медузы. Я бы и вообразить не мог ничего подобного по мастерству и выразительности рисунка. Бледно-зеленая, мутноватая вода камня, когда я его поворачивал, так преломляла свет, что, казалось, Медуза еще шире раскрывает пустые от ужаса глаза.

Я рассматривал камешек и заранее соглашался на любую цену.

— Ей за тысячу лет, — с должной значительностью говорил антиквар, — и вы обратите внимание, это — корень камня, — из него и вырезано, а края прозрачнее.

В эту минуту в лавку кто-то вошел. Я взглянул и почувствовал несвойственное мне смущение. Такую совершенную красоту нельзя было принять иначе, как чудо. Все существо мое как бы обновилось и мысли закипели, как весенние облака, но произошло и помешало нечто странное: камешек потяжелела, это я ощутил настолько ясно, что от растерянности, должно быть, переложил ее в другую руку.

Антиквар оставил меня и занялся с покупательницей, потом разговор стал общим, и мы познакомились.

— Камешек я купил, а когда... — он замолчал и остановил взгляд на бассейне.

— Что вы? — спросил я.

— Нет, мне показалось.

Вода в бассейне рябилась, зыбилась, вздрагивала, а когда дождь туманил деревья, она подергивалась быстро таявшей пеной.

— Камеей я украсил кольцо, и Анна стала носить его, цenia как память о нашей встрече, — не знаю почему, я не рассказал ей о том, что случилось у антикара. Должно быть, потому, что впечатление рассеялось и позабылось.

Как передать любовь? — Если я каждое утро рвал цветы и бережно нес их, чтобы брызнуть росой в лицо и видел милый испуг пробуждения, если я думал о ней радостно и нежно, если все ее маленькие привычки стали для меня светлой услдой, если не было ничего, кроме нее, то это еще не то. Любовь, это — запах солнца, цветение неба. Это все необычайное и прекрасное, что понятно лишь тому, кто любит.

Счастливые, мы, как дети, не замечали времени, но раз вечером, когда возвращались с прогулки, она о чем-то задумалась, а я стал допытываться, что с ней.

— Конечно, это только кажется, — сказала она, — но у меня очень неприятное ощущение. Когда ты мне особенно близок, то камей, как будто оживает. Вот и сейчас я чувствую, что она стала тяжелее. Должно быть, кровь приливает к пальцам.

Лицо у нее побледнело, и в голосе была плохо скрытая неуверенность.

Не признаваясь в своем страхе, я нашел объяснение, что кольцо, вероятно, узко и надо его снять, но она показала мне, что оно свободно. Я не хотел тревожить ее недобрым предчувствием и думал, что мне удастся под каким-нибудь предлогом взять у нее кольцо. Прошло несколько дней. Я с напряженным вниманием следил за каждым ее движением, за каждым взглядом. Она казалась по-прежнему радостной, но я стал замечать, что это стоило ей трудного усилия над собой. Бледность не сходила с ее лица, в глазах появлялось недоумение, и мое желание избавиться от камей, вернуть ее антикару все более крепло.

— О чем ты так думаешь? — наконец спросил я.

Она ответила уклончиво. Даже, кажется, улыбнулась, чтобы показать свое спокойствие, и ушла в оранжерею, где в последнее время часто и подолгу оставалась одна, но я решил быть настойчивым. В оранжерее влажная теплота и запах цветов были так густы, что мысли мешались, как от вина.

Я нашел Анну плачущей.

— Мне кажется, — сказал я ласково, как ребенку, — что все-таки кольцо лучше снять!

То, что я так прямо начал, сразу же все определило.

— Я не могу! — чуть не крикнула она, и в голосе ее было отчаяние. — Тогда что-то случится. Я потеряю тебя.

— Почему тебе кажется?

— У меня такое чувство.

И как ни убеждал я ее, как ни просил, она не сняла кольца. С того дня борьба ее с собой стала еще напряженнее, каждая минута, которую она отдавала мне, была для нее непосильной мукой. Камея проявляла свою силу иногда так ощутительно, что Анна менялась в лице и опускала руку. Щеки у нее впали, ее одолевала слабость, и она по целым часам сидела в оранжерее, откинув назад голову и закрыв глаза. И раз, когда она так заснула, я тихо подошел и снял кольцо. Снялось оно легко, и мне показалось, что палец, на котором оно было надето, помертвел и тронулся желтизной.

Я вышел в сад и бросил кольцо в бассейн; с тревожным чувством ждал я, что она будет просить меня отдать его, но все же тяжесть спала с моего сердца.

Она не сказала ни слова, только медленно ходила по дому, растерянная и как будто испуганная.

Я не мог вынести ее молчания и сказал, что взял кольцо.

— Я знаю, — ответила она с печальной покорностью.

Я думал, что этим все кончится и вернется радость, но Анна оставалась такой же, и что я ни делал, чтобы развлечь ее, она думала о своем, и дни нагнетали все тоскливее и безысходнее, а когда в парке зашелестели опадающие листья и стал жаловаться ветер, у меня явилось желание уехать куда-нибудь на юг. Я даже подсадовал на себя, что

мне не пришло это в голову раньше. Перемена места и яркое солнце должны были помочь мне... Я сказал Анне, — она равнодушно согласилась. Но, Боже мой, какую ночь я провел накануне нашего отъезда. Мой казачок укладывал вещи. Я сидел за столом и писал письма; мне казалось, что Анна у себя в комнате, по крайней мере, не больше, чем за полчаса перед тем я слышал ее шаги...

Шел дождь, как сейчас, и вдруг в саду закричал сторож; я сначала не обратил внимания, но потом беспокойно заговорило несколько голосов и замелькал фонарь... Я послал казачка узнать, что случилось, но в это время кто-то из прислуги постучал в окно, и я расслышал только одно слово:

— Утонула!..

Еще не веря мелькнувшей у меня нелепой и жуткой мысли, я кинулся к Анне в комнату, не найдя ее там, сразу же потерял всякое самообладание и уже, как в бреду, почувствовал на лице капли дождя, увидел бассейн и в свете фонаря, на клумбе среди цветов, тело Анны... Сторож рассказывал, как он услышал плеск, и ему показалось, что в воде мелькнула рука...

Несколько дней я не понимал, что вокруг меня происходит... Было такое тяжелое безразличие, что я послушно исполнял все, что мне говорили... Спать я по ночам не мог, и казачок то и дело раскуривал мне трубку. Весь дом был освещен, и я бродил по комнатам или сидел в этом кресле, вздрагивая при каждом звуке; у меня было столько нелепых мыслей, что сразу трудно было ответить, если меня о чем-нибудь спрашивали; а через пять или шесть дней, хорошо не помню, все чувства мои захватило необъяснимое, беспокойное ожидание. Не знаю почему, эта комната не была в ту ночь освещена. Я стоял у окна и смотрел на бассейн. Где-то за деревьями лежала в тумане луна, вода в тени была еще темнее, чем сейчас; и бассейн казался полным застывшего, отполированного металла... Сначала, когда я увидел, то подумал, что это игра лунного света... Да вот. Смотрите! Смотрите!

Он схватился с кресла, быстро распахнул раму и оцепенел...



В подернутой рябью воде расплывчато обозначилось женское лицо, — мертвое, с закрытыми глазами.. Как бы поднимаясь со дна и проступая все яснее, оно походило бы на световое отражение, если б не было так углублено. Бледная зеленоватая прозрачность его напоминала изумруд. Чернота бассейна стала еще гуще, еще загадочнее, и оттого, что деревья, смятенно прошумев, уронили в него несколько

ко листьев, а облака, сворачиваясь и клочась, чуть не задевали за верхние ветки, почудилось, что ночь, и ветер, и призрак — одно непостижимое, тягостное и гибельное наваждение.



— И это каждую ночь, — в беспомощности и тоске простонал он. — Каждую ночь!

Мне казалось, что я теряю сознание, но видение уже заволакивалось, поглощаемое водой, которая из черной превращалась в красную, словно бы отражая занимавшуюся зарю... И тополя покраснели, все потеряло жизненность и выступили желтые круги на голубом поле.

Я лежал на диване, держа в руке раскрытую книгу.

Я не спал, в этом я уверен. Переход от сна к действительности не мог быть таким сознательным. Опиума, повторяю, не курил, следовательно, случившееся принадлежит к явлениям другого порядка. Возможно, что это, как я где-то читал, объясняется тем, что вещество источает прошлое: тряпка и дерево, из которых сделана бумага обоев, состав красок исполненного на них рисунка, и мысль художника, по причине многих тысяч случайностей отразившая то, что где-то существовало или существует в действительности, все соединилось и совпало так, что при болезненной раздражительности моего воображения явило или, как я сказал, источило прошлое; во всяком случае, из этой комнаты я перейду в другую, где были бы более спокойные обои.

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ

(Посвящ. С. Ю. Судейкину)

В сентябрьские ночи, когда небо, как чугун, когда невидимые быстрые пальцы тонко, тревожно постукивают в запотевшие оконные стекла, а ветер прикидывается по-всякому и стонет, и грозит, и жалуется, я часто вспоминаю Савву Панчина и его рассказы. Нас было шестеро молодых беззаботных друзей. В девятом часу вечера мы собирались у Саввы в его мастерской.

Дом, на который пошли остатки миллионного, в короткое время прожитого наследства, был им выстроен, главным образом, ради этой мастерской: в одиннадцать аршин высоты, со стеклянной, задерживавшейся синим шелком крышей, с низкой сводчатой дверью, выходившей на просторный каменный балкон, и четырьмя зеркальными, такими громадными окнами, что в солнечные дни казалось, — стен нет.

Полки с редкими книгами, скульптурой и старинными вещами, керамический камин по эскизам Врубеля и на круглом постаменте, задрапированном черным бархатом — мрамор — прекрасная копия Венеры Милосской в ее настоящую величину — все отвлекало от обыденного. Создавалось приподнятое настроение и яркие возникали мысли.

Савва не писал картин и не сочинял стихов, но был художником в самом широком смысле этого слова — художником в жизни. Каждая мелочь в его костюме, в отношениях к людям была тонка и своеобразна. Непонятый мечтатель, он улыбался сдержанно, несколько рассеянно и говорил тихо, изредка проводя бледной худой рукой, закованной в серебряный браслет грубой работы, по чистому спокойному лбу. В этом движении его чувствовалась усталость, и браслет, значение которого никому из нас не было известно, углублял ее, тая в себе что-то ценное и значительное из прошлого.

Мы были для Саввы слишком шумны и веселы, особенно, когда золотой бес вина искрился и трепетал уже в четвертом или пятом стакане, но если Савва что-нибудь рассказывал, нас связывало молчание и наши стаканы боялись звенеть. Так было и в тот осенний непогожий вечер, когда он рассказал о голубом платье.

Я не помню, с чего это началось, кажется, кто-то состриг по поводу своей заложенной шубы. Савва ткнул в пепельницу окурков сигары, облокотился на ручки кресла, скрестил пальцы и, положив на них подбородок, задумался, покусывая нижнюю губу.

— Со мной был странный случай, — проговорил он, как бы делая усилие, чтобы освободиться от своих мыслей. — Я до сих пор не могу понять, что тогда со мной происходило. Бывает иногда, что проснешься утром и чувствуешь, что день пройдет пусто, что он лишний. Почему-то ничего не хочется делать. Надо куда-то идти — и некуда. Лениво одеваешься, незаметно для себя берешь шляпу и сбегаешь из дома. Пьешь кофе в какой-нибудь первой попавшейся кофейне и, не допив стакана, отправляешься бродить и все время ощущаешь ничем не объяснимое беспокойство. Это такое нелепое состояние, что людей не отличаешь от домов. Можешь сделать какую угодно подлость или броситься под автомобиль. Тогда я был именно в таком настроении и попал в аукционный залы. Сумрачное, выстуженное помещение. Нанесли с улицы снега, на полу мокрота. Сидят за столами маклаки и торговки. Ходят по рукам разные жакеты, брюки, юбки. Все это тщательно осматривается и ощупывается с деловитостью могильных червей. Мне стало противно, и я хотел уйти, но в это время появилось голубое шелковое платье. Торговки заволновались — это был для них заманчивый кусок. Платье поползло по столам; его встряхивали, чтобы посмотреть кружево, выворачивали наизнанку и передавали дальше. Когда оно дошло до того места, где я стоял, у меня уже было такое чувство, точно оскорбили что-то, бесконечно для меня дорогое. Платье убрали, а я стоял и ужасно волновался; я знал, что теперь уж не уйду и дождусь аукциона. Меня интересовало, что будет с платьем

дальше. Мало сказать — интересовало, это было чувство гораздо более сложное. Мне стало казаться, что мое присутствие на аукционе не случайно. Я так задумался, что не заметил, как появился судебный пристав. Толстый, румяный, с жестким бобриком. Кивок направо, кивок налево, глаза стеклянные... и, не изменяя голоса: «Двадцать два, двадцать три». «Кто больше?». «За вами», как механическая кукла. Аукцион шел быстро. Я глядел на стол, где были сложены назначенные для продажи вещи, и искал глазами платье, но за головами и спинами было плохо видно.

— Платье шелковое.

Я вздрогнул.

— Пятьдесят рублей.

Какая-то ведьма в черной косынке набавила сразу пять и еще кто-то рубль, потом еще два...

Я слушал растерянно и чувствовал, как горит мое лицо, и вдруг сказал совершенно неожиданно для себя:

— Семьдесят пять.

Должно быть, я сказал очень громко или моя цена показалась слишком поспешной, потому что произошло небольшое замешательство. Пристав остановился. Все обернулись в мою сторону. Какой-то голос из угла набавил пять.

Я чувствовал нервную дрожь в коленях и совсем перестал соображать.

— Сто пятьдесят.

Это произвело впечатление. Наступила неестественная тишина.

— Сто пятьдесят. Кто больше?

Должно быть, хороший судебный пристав не должен ничему удивляться — вероятно, поэтому он сделал окончательно безразличное лицо. Я не думал, чтобы кто-нибудь стал еще набавлять; цена была нелепая, но по моему виду, конечно, было ясно, что я пойду и дальше и торговаться со мной не было никакого риска — и какой-то котелок из озорства, должно быть, набавил.

Я говорю — двести — тот набавляет. Началось явное издевательство. Тогда я решил схитрить и стал проявлять нерешительность. Один момент был такой, что платье могло

остаться за маклаком.

Когда я вышел из ломбарда, я несколько мгновений стоял, как человек, наткнувшийся на стену. У меня в руках был сверток, и я не знал, что с ним делать. Потом сел на извозчика и поехал домой. Дорогой я старался привести свои мысли в порядок.

Зачем мне это платье? — но я был доволен, что оно у меня. Я осторожно щупал сверток. Под газетной бумагой нежно шелестел шелк — и в мои пальцы точно переливались частицы чьей-то жизни. Вернувшись домой, — я тогда еще жил с отцом, — я прошел в кабинет, запер дверь, не раздеваясь, кинулся в кресло и нетерпеливо развернул сверток. С моих колен на пол соскользнули голубые складки. Комната была полна солнца. В его мертвом зимнем блеске платье золотисто застыло и от него повеяло грустным очарованием.

Мне представилась женщина; я угадывал ее лицо, ее движения, походку. Мне казалось, что я знаю всю ее жизнь, что я ошибаюсь в каких-нибудь мелочах, но главное мне известно. Я так размышлял, так поверил в созданный мною образ, что стал даже называть ее по имени... «Рэнэ». Волосы у нее были, как золотая пена, и глаза глубже неба. А как она смеялась! Если бы зазвучали солнечные лучи, то это было бы похоже на ее смех. Но она смеялась редко. Ее душа была измучена любовью... Любовь для таких женщин неминуемо связана с жертвой, с подвигом, они любят так глубоко, что не страдать — не могут. Какое-нибудь неосторожное слово, взгляд и гармоничность их существа нарушается.

Если такая женщина не находит в любимом ничего, что бы она могла ему простить, то она непременно найдет что-нибудь в себе и будет себя мучить, что она недостойна своего счастья, что ее любовь недостаточно цельна и Бог знает, до чего это может дойти.

А с Рэнэ... Впрочем, все по порядку.

Стук в дверь заставил меня очнуться. Я быстро свернул платье и спрятал его за портьеру. Пришла одна моя знакомая, с которой я накануне провел очень любопытный ве-

чер. Не будь платья, я был бы не прочь сказать ей несколько ласковых слов, но теперь она мне показалась неинтересной и неумной. Я сказал, что у меня болит голова, и сделал такое лицо, что ей ничего другого не оставалось, как уйти. Я повесил платье отдельно от других вещей. С того дня я почти перестал выходить из дома. Я снял телефонную трубку, никого не принимал. Лежал на диване, курил и мечтал. Рэнэ вошла в мою жизнь так действительно, так ярко, что мечта стала близкой к воплощению. И это случилось.

По вечерам я брал из шкафа платье и, расстелив его на диване, садился около и весь отдавался своим мыслям.

Шелк еще хранил слабый запах духов... Я вдыхал их и как-то странно пьянел. Я испытывал удивительно тонкое, почти бестелесное сладострастие. В эти минуты душа Рэнэ так глубоко и полно вливалась в мою, что, когда приходило отрезвление, я чувствовал настоящую боль разлуки.

В один из таких вечеров, когда я уже повесил платье в шкаф и собирался лечь спать, в комнату вошла Рэнэ. Я ничуть не удивился ее появлению; неожиданности в нем не было. Переход от воображения к действительности произошел так естественно, что мне показалось, что она все время была со мной, с самого начала нашего безмолвного вечернего разговора. Я сказал: она вошла, — а на самом деле, она только поднялась с дивана и, продолжая говорить, остановилась перед камином и протянула руки к огню; в нем погасали беглые синие змейки; его красный отблеск углубил складки на ее платье. Ее пальцы показались мне пальцами статуи, так они были рельефны и неподвижны.

Она рассказывала о том, как в тот же вечер, в день их разрыва, она пошла к нему; у нее была надежда, что это так кончиться не может: это было бы чересчур грубо, непохоже на него. Она не думала вернуть его чувство. Ей хотелось лишь убедиться, что она не ошибается, что все его оскорбления — от большого надрыва. Она пришла к нему в меблированные комнаты, куда он переехал, дешевые и грязные, разыскала в самом конце коридора, за кухней, его номеришко. Он сделал так, как хотел. Он говорил, что устал от

ее красоты, что с него довольно поэзии — надоело. Она хотела уже постучаться, но за дверью раздался женский смех. Смех был такого рода, что не оставалось сомнения, кто с ним. И это так оскорбительно быстро, всего через несколько часов. Когда она вышла на улицу, с ней начался припадок. Она зашла в какую-то молочную, хотела выпить воды, но потеряла сознание, а потом нервная горячка и больница. Все время ее преследовал тот смех. Когда поправилась, хотела все распродать и куда-нибудь уехать, но встретила его на улице и осталась. Он ехал с каким-то гусарским полковником... Он ее узнал, потому что обернулся и потом что-то сказал полковнику. В ту минуту она почувствовала, что в ней произошел перелом: она ожесточилась, а дальше падение и ужас и это для того, чтобы он знал, до чего он ее довел. Потом она поняла, как это было ничтожно с ее стороны. Ожесточение прошло, осталась лишь невыносимая тяжесть, но она не стала искать выхода из той грязи, которая ее захлестнула, — наоборот: она падала все ниже и ниже. Она пыталась этим. Она недостаточно любила свою любовь, иначе бы не оскорбила ее, осталась чистой, и это ее мучило больше всего, а потом соответствующая болезнь, которая довела ее до нищеты.

Рассказывая это, она ни разу не повернулась ко мне лицом. Ее неподвижность перед камином стала меня утомлять.

То, что я угадывал в ней раньше, до ее рассказа, рисовало мне ее гораздо резче и привлекательнее. Да, пожалуй, красота, какая была у Рэнэ, и не могла найти в нашей укороченной плоской жизни настоящего выражения.

Я ничего не мог ей сказать. Все подробности: меблированные комнаты, гусарский полковник — обескрылили мое воображение и меня уже не влекла к ней ее тайна. Я понимал ее страдание, но не чувствовал его.

Помню, я вскочил с кресла, должно быть, желая удержать ее, но ее уже не было.

Я бросил в камин стружек и, мало сознавая, что делаю, толкнул дверь, которая была заперта, почему-то ощупал диван и кинулся к шкафу, в котором висело платье.

Я не знаю, может быть, оно упало, когда я отворял шкаф, но то, что оно не висело, а лежало, как бы второпях сброшенное, заставило меня на несколько мгновений оцепенеть. Я поднял его, и оно мне показалось гораздо легче, чем было прежде, точно кисейка была в руках... И может быть, тоже случайность, — но зацепившееся за мою запонку кружево разорвалось, как паутина, и я уверяю вас, господа, что платье выцвело.

Я поднес его к лицу, — никакого следа от духов, только пыльный запах долго лежавшей старой материи.

Платье умерло... Да, да. Не улыбайтесь, господа, оно умерло.

Я смял его и бросил в камин.

Савва провел рукой по лбу, потом протянул ее к ящику с сигарами.

Мы молчали под впечатлением его рассказа. В стаканах ждало вино, а в окна мастерской бил свинцовыми крыльями ветер.



Мой чемодан почти весь обклеен ярлыками отелей и мог бы служить недурным путеводителем. Вот уже четвертый год, как я, подобно кукушке, не вью своего гнезда. Бродяжнический образ жизни хотя и несколько утомил меня, но я доволен им. Судьба, чуть ли не сразу подарившая мне два наследства., избавила меня от труда изобретать способы существования. Я в достаточной мере чувствую это, потому что раньше едва перебивался и много претерпел унижительных положений. Теперь трудное прошлое мое кажется мне очень далеким, и я уверенным, «сознательным бездельником» вхожу в кафе, смотрю из окна вагона или подъезжаю на моторе к отелю. Часто в наиболее спокойные часы я вижу жизнь не как участник ее, а как зритель, — тогда подмечаешь еле уловимые подробности, вещи приобретают более цельный смысл и встречи с людьми определяются легко и ярко. Такое внимание похоже на увеличительное стекло, и, когда после многоверстных пространств вагонной стукотни и бестолочи попадаешь в желанный номер отеля, — оно обостряется до чрезвычайности. Случай, о котором я хочу рассказать, объясняется именно этой

необычайной изощренностью внимания, а все, что произошло дальше, явилось следствием странного начала.

Я приехал в Киев поздно вечером. Всероссийская сельскохозяйственная выставка собрала так много приезжих, что все гостиницы оказались битком набиты, и я с трудом нашел номер на пятом этаже, в конце узкого, скудно освещенного коридора. Почти треугольная, несуразная комната выходила окном на какую-то крышу, на которой торчала круглая железная труба, умывальник отказался действовать, прислуга на звонки не торопилась, пахло почему-то камфарой, но все эти мелочи не стоили примечания после того, как я часа полтора кружил на извозчике по городу под проливным дождем.

После чая я хотел позвонить по телефону одному из моих знакомых, но, отворив дверь, остановился: на матовом стекле противоположной двери отразилась тень женщины, красота которой показалась мне столь совершенной и выразительной, что первое мгновение я был в замешательстве. Высокая прическа, нагие плечи и руки, — словно бы портрет тридцатых годов. Исчез он так же внезапно, как и появился.

Я вернулся в комнату, оставив дверь открытой, осторожно сел у стола и стал ждать, но прошло пять-десять минут, отражение не повторялось: было пусто мутно-белое, как бельмо, стекло.

Весь вечер провел я в напряженном ожидании, но тени не было, и, наконец, свет у соседки погас. Затрудняюсь определить мое чувство: я не думал о возможности видеть ту, чья тень меня так смутила. Мое впечатление было так определено, так закончено, что никаких пояснительных подробностей, никакой иной действительности знать не хотелось, и я заснул с мыслью, что едва ли и во сне явится подобный призрак, после которого останется в памяти столь сладостно-беспокойный след.

Встал я рано, открыл окно навстречу празднично-солнечному дню и, соблазнившись крепким после дождя воздухом, через несколько минут уже шел по нарядной улице нового для меня города. О своем вечернем видении я думал

теперь не так отвлеченно, говоря откровеннее, у меня возникло желание познакомиться с соседкой; в этом отношении я довольно изобретателен, а тут еще и случай помог. Когда, вернувшись, я поднялся в полутемный наш коридор, она стояла у раскрытой двери своего номера и, увидев меня, нетерпеливо заметила:

— Ну, что же вы так долго?

Было очевидно, что она ошиблась, но я сейчас же этим воспользовался.

— К вашим услугам, сударыня.

— Простите, — смутилась она, — я думала, комиссионер. Здесь очень темно.

Она показалась мне мало похожей на свою тень, но все же тонкое, чуть самоуверенное лицо ее было прекрасно.

— И гостиница, и прислуга — одинаково скверны. Пошел за телефонной книжкой и пропал.

— Я вам сейчас принесу.

Она сказала, чтобы я не беспокоился, но моя готовность была до крайности стремительна.

В телефонной будке книжки не оказалось, я спустился в контору гостиницы и там получил.

Соседка ждала... Поблагодарив меня, она ушла с книжкой в комнату, но вечером мы встретились у телефона, то есть, вернее, я подстерег ее — услышал, как она вышла в коридор, и последовал за ней; словом, на другой день мы были уже настолько знакомы, что предложение мое осмотреть вместе выставку не могло показаться очень поспешным.

Звали соседку Ириной Сергеевной. Приехала она в Киев по каким-то делам, о которых упомянула между прочим. Киев она хорошо знала, потому что провела в нем почти все детство.

— Девочкой я часто бегала в лавру, — рассказывала она. — Вы не были в пещерах?

Я сказал, что собираюсь, и мы условились на завтра отправиться утром в лавру. Вообще, я заметил, что ей было скучно и она довольна знакомством со мной.

Я решительно ничего не понимаю в сельском хозяйстве, но, как мог, старался казаться знающим толк в плугах, веялках и сноповязалках, и моя спутница доверчиво слушала весь изобретаемый мною вздор.

В беседке из ржаных снопов мы ели мороженое. Плескались флаги, гремела музыка, стучали машины, но я мало что видел, кроме белой кружевной шляпы, синих внимательных глаз и приворотливой улыбки.

После выставки мы расстались и свиделись, как было решено, на другой день...

Когда я постучался к ней, Ирина оказалась уже совсем одетой и в шляпе.

Каждый раз при взгляде на дверь ее номера я вспоминал о тени, но как бы вскользь, ничуть не определяя своего отношения к этой случайности.

По дороге в лавру, показав на какой-то малозаметный двухэтажный дом, она сказала:

— Мы в этом доме жили.

В лавре ее несколько повышенная впечатлительность проявилась в избытке.

Лавра горела белым огнем, так ослепительны были церкви ее, стены, врата, а купола — золотым... Отлитыми из солнца казались они, милыми друг другу братьями устремились в небо, и раскрылось оно для них до сокровенной глубины.

Вестниками благодати пролетали, сверкая крыльями, голуби. Ветлы и тополя, разомлевшие от зноя, перешептывались... О чем? Мало ли о чем. О всех былях и чудесах пещерских!..

Пели слепцы и калеки стихи духовные, тянули жалостно, разногосили.

Положив котомки, сидели в затени, на плитчатой постлани дворов лаврских богомольцы-лапотники. Со всей Руси собрались узреть подвижников в нетлении: кто за утешением пришел, кто с покаянием, кто по обету, — велика Русь, ковыляют по ней сорок стариц — сорок бед с внучкой — тихой да слезоточивой Горюньей-Докучницей. У другого все ладно: и добро не переводится, на свой и на чужой век хва-

тит, а привяжется Докучница — закручинится сердце; и таких много в лавре, — крепка святыня киевская, для всех пристанище уветливое.

Некоторые замечания Ирины показались мне лишними, а когда зажгли свечи и пахло на нас из пещер вековым холодом, — ее усмешка несколько удивила меня.

Тесные черные ходы с неожиданными поворотами и углублениями, подернутые плесенью иконы, древние потемневшие покровы на мощах, врезанные в стены слова о смиренномудренно спасавшихся здесь затворниках, имена их: Алексий, Варлаамий, Андроник, Елладий, Иринарх, спокойный, однообразно-текущий голос проповедника-монаха, вздохи сосредоточенно слушающих его богомольцев, — все было строго и благолепно.

Резкий просвет и трескотливый гам воробьев, почти оглушительный после подспудной тишины пещер...

— А вы любите такие места... — решила Ирина небрежно.

— Да, люблю, — сознался я.

— А у меня к этим странникам и ко всему какое-то брезгливое чувство, точно в детстве все это было другим.

Мы шли в тени густо-зеленой аллеи, недавно посыпанный сырой песок был приятно мягок, рдели на небольших клумбах георгины.

— Хотите, пройдем к Днепру? — предложила она.

Мы свернули на какой-то весь поросший ярко-зеленой травой дворик, прошли под гулками сводчатыми воротами, и открылась широкая неоглядная ровень, а по ней излучины сказочно-синей реки.

Вилась с обрыла тропка, в овражек и на высокий пологий холм. Мы поднялись на него, опустились на теплую мураву.

— Вот это люблю, — сказала Ирина, — воля какая, опьянеть можно. Вы на меня рассердились за пещеры, — улыбнулась она с веселой откровенностью, — но ведь правда же, там очень затхло. Старчество, прибежище сырых, все я понимаю, но зачем это мне, когда у меня в крови солнце ходит? А вы сумрачный даже сейчас.

— Нет, это вам кажется.
— Петь, лететь хочется, когда видишь такую ширь.
— Уж не ведьма ли вы? — пошутил я.
— Ну конечно, — засмеялась она, — и бойтесь: наведу та вас порчу.

— Если уже не навели.

— Это было бы хорошо.

Она посмотрела на меня допытливо, даже серьезно.

— А многих вы испортили?

— Были такие.

— И что же, им повод, а вам забава?

— Нет, я добрая ведьма.

— Бог вас знает, какая вы.

— Не верите?

— Не верю.

— Почему же?

— Это трудно объяснить.

Она сорвала ромашку, понюхала и дала мне.

— Какой крепкий запах, держите так, вдыхайте, а я буду заговор читать. Пусть она, эта самая присуха, войдет в ретивое сердце, в тело белое, в печень черную, в голову буйную, в серединную жилу и во все семьдесят жил, и во все семьдесят суставов, в самую любовную кость. Зажгла бы присуха ретивое сердце, вскипятила горячую кровь, да так, чтобы нельзя было ни в питье ее залить, ни в еде заесть, сном не заспать, водой не смыть, гульбою не загулять, слезами не заплакать, — ну вот, теперь я с вами что хочу, то и делаю.

Глаза ее были синее потемневшей в эту минуту от облачной тени реки и глядели прямо, улыбочиво, до ласковых обещаний.

— Откуда вы это знаете?

— Ну вот, — ведьма, да не знать!

— Убедительный заговор.

— В лавре был один калека, Миша безногий. Я ему из дома баранки носила, и он мне сказки рассказывал и заговорам рот учил. Так убедительно? Подействовало?

— Вполне.



И я поспешил доказать это.

— Нет-нет, и так ясно.

Она ускользнула из моих рук и встала.

Весь этот разговор и разрешение значительных прикосновений лишили меня всякого соображения, и когда мы опять шли по зеленому дворику, я уже заверял се, что сила моего чувства чрезмерна. Все слова в таких случаях кажутся недостаточно выразительными, но голос углублен, глаза цветут, и любое обстоятельство применимо для утверждения искренности порыва.

Я вернулся в гостиницу один.

Она объявила, что едет по делу и скоро будет.

Очень недовольный какими бы то ни было делами, а ее в особенности, я нетерпеливо ждал, не зная, чем занять время и полня стакан белым вином.

Ожидание было напрасным.

Я просидел до часа ночи и от изрядно выпитого вина задремал на диване.

Очнулся от стука в дверь.

— Вы не легли?

— Нет еще, — вскочил я.

— Не хотите зайти ко мне?

Если бы даже потребовалось воскреснуть из мертвых, и это бы не было помехой для того, чтобы устремиться к ней. Когда я взялся за ручку ее двери, на стекле скользнула ее тень, и еще цельнее, чем в прошлый раз. Я подумал, что это не она, не Ирина, а другая, которая так необычайна в красоте своей, мгновенна и недоступна.

— Я вас разбудила? — встретила меня Ирина с улыбкой милого недоумения.

— Нет, я не спал.

— Вы совсем не похожи на того рыцаря, который ждал свою даму без сна и без хлеба двенадцать дней и умер. У вас и сейчас глаза сонные.

Она сидела подле зеркала в полуоборот к нему: на подзеркальнике — в стеклянных подсвечниках мигали задуваемые ветром из окна свечи.

— Что же вы не спросите, почему я так задержалась, или вам это безразлично?

— Может быть, вы не захотите ответить?

— А если и отвечу, то вы, может быть, не поверите. Так? А мне наша встреча с вами тем и нравится, — что вы не знаете меня, а я вас. Я бы хотела, чтобы и дальше так было.

— Это что же, условие?

— Нет, только желание.

Не помню, что я говорил, но смысл был тот, что я готов на все, что я потерял все мысли, что она дала мне радость, о которой я не мечтал.

Ирина слушала, странно улыбаясь, как бы не веря, что понуждало меня к еще более безудержным признаниям; убедил я ее или нет — не знаю, но ушел наутро счастливым любовником, и стакан вина, который я выпил перед тем, как лечь спать, показался мне неизъяснимо чудесным.

В крови у Ирины словно бы и вправду ходило солнце.

Первые дни нашей близости были похожи на зарево́й праздник. Мы молчаливо согласились не говорить о своем прошлом и о делах, но жизнь все же не сказка, и как-то вечером Ирина сказала мне, что должна на несколько дней уехать. Она была очень встревожена, на столе лежала телеграмма, и я спросил, в чем дело.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты знал, — уклонилась она от ответа, — как-нибудь после я, может быть, и скажу.

Я не настаивал, я лишь хотел быть уверенным в ее скором возвращении, и в этом она меня успокоила. Начало наших отношений было несколько легкомысленным, по крайней мере, так мне теперь кажется, но потом ясно создалось, что все это много сильнее и крепче, — и в часы ее отъезда я чувствовал себя крайне потеряннм. Номер она оставила за собой, чтобы еще раз не искать и не расселиться нам по разным гостиницам.

Ежедневно я получал короткие, но исполненные подлинного чувства письма.

Прошло около двух недель; уже два дня не было писем, и я находился в тяжелом беспокойстве. Она просила не писать ей, да я и не знал ее точного адреса, — мне был известен лишь город. Помню свою тоску и чуть ли не отчаяние, когда, часа два бесцельно пробродив по улицам, я возвращался, ничего как следует не решив и не обдумав.

На стекле мелькнула ее тень.

Я подошел к двери, — в комнате был свет.

В уверенности, что Ирина вернулась — в чрезвычайном волнении постучал я и прислушался.

— Можно?

П постучал опять.

Но ответа не последовало.

Толкнул дверь, она оказалась запертой.

Я прошел к себе в номер и позвонил горничной; ключ от комнаты Ирины был у нее.

— Разве барыня приехала?

— Нет.

— У нее в комнате светло.

— Это я забыла погасить. Чехлы меняла на мебели, в стирку отдать.

Несмотря на такое объяснение, все же осталось что-то смутное и я с трудом разобрался в своем ощущении. Стекло словно бы таило возможность явить тень Ирины и в ее отсутствие. Сама мысль эта была ни с чем не сообразна, однако я как бы что-то понял и почти успокоился. Воспоминание о тени было ярче и законченнее, чем об Ирине, и показалось мне, что я все время об этом думал, только почему-то не решался признаться себе, а вот признался и все определилось иначе. Пусть это только почудилось, что мелькнула тень — но желание увидеть Ирину стало менее напряженным. Я стал допытываться и решать, что со мной происходит; с одной стороны, я не хотел додумывать до конца, до полной ясности, моего предположения, а с другой — меня понуждало к этому непонятное томительное чувство, которое и довело до некоторых решений и поступков. Мне стало ясно, что теневой образ Ирины влечет меня сильнее, чем она сама, и я только подменил свое влечение. Когда в первый раз увидел я тень, — воображению моему явилась женщина, которая так и осталась строгой, неизменной в своей сущности, а Ирина была лишь слабым ее отражением, даже не отражением, а только напоминанием о ней.

Я угадывал нечто невероятное, и тем не менее возможное. Чтобы убедиться в этом, зажег в комнате Ирины свет, дверь своего номера оставил открытой я, вернувшись на диван, стал ждать.

Не знаю, сколько времени я просидел, кажется, довольно долго. Я находился как бы в оцепенении. Взгляд мой был пристален и сосредоточен. Просвеченный матовый квадрат словно бы ширился и углублялся, и тень, наконец, появилась, правда, на столь короткое мгновение, что сознание едва успело воспринять ее, но для меня не оставалось сомнений в подлинности факта.

Трудно передать, что я испытывал — и радость, и смятение, и неопределенную надежду. День не отрезвил меня, а приезд Ирины теперь казался мне лишним. Я о нем не думал, и, когда телефонный мальчик принес мне письмо,

то я отнесся к этому безразлично.

«Я не хотела говорить о том, что касается лишь меня, и могло быть тебе неприятно, — писала Ирина, — но должна сказать, чтобы ты был уверен во мне. Я думала, что скоро вернусь к тебе, что все не так сложно, но вот как это затянулось. Я замужем, и, хотя мои отношения с мужем уже давно выяснены в том смысле, что нас ничто не связывает, но до встречи с тобой я не решала своего ухода. Мы иногда не виделись по целым месяцам, а когда бывали вместе, ни в чем друг друга не стесняли... и я не ждала, что мое решение уйти совсем будет как-либо затруднено, — однако, он сумел и тут дать почувствовать свою низость, но теперь все разрешилось, и не думай, не волнуйся, — я скоро буду».

Конец письма убеждал в еще большей искренности, но как это все было некстати. Я только сильнее понял, до какой степени заблуждался относительно своего чувства. Письмо сразу определило, что приезд Ирины, конечно, осложнит, но ничуть не изменит того, что случилось.

Дни проходили пусто и бесцельно; я или спал, или пил вино, но в ночные часы, когда гостиница затихала, жил особой, необычайной жизнью, насыщенной столь сладостными озареньями, что рассвет казался насилием.

Стекло оживало... тень не исчезала быстро и вся моя воля, все мое устремление служили ей.

Телеграмма, в которой Ирина извещала о своем приезде, встревожила меня неприятным образом. Присутствие Ирины могло только помешать.

Встречать ее я не поехал. Это обстоятельство и явилось началом нашего объяснения. Она сказала с некоторым разочарованием, что думала увидеть меня на вокзале.

Я промолчал.

Тогда последовал уже предположенный мною вопрос: что со мной и почему я так выгляжу?

Я отвечал уклончиво, но она проявила крайнюю настойчивость, чем вынудила меня объяснить ей, что я далек от мысли возвращаться к тому, что между нами было, что это не больше, как недоразумение, что я не нашел в ней то, что искал, что она лишь слабое отражение своей тени.

Я говорил, должно быть, запутанно и сбивчиво, потому что заметил, что Ирина в недоумении и смотрит на меня внимательно, чуть не с испугом.

— Ты должна меня понять, ведь это все же твоя тень!

— Моя тень?

Она не понимала, и мне пришлось потратить немало слов, прежде чем убедить ее, — до какой степени было ошибочно мое чувство к ней.

Я был в естественном волнении и, уходя, она сказала, как бы примиренная:

— Ну, ну, хорошо, успокойся.

А не больше, как через полчаса, ко мне явился неизвестный господин, правда, приятный в обращении, но все же удививший меня внезапностью своего прихода и вопросами, которые он предлагал мне с настойчивой профессиональной уверенностью.

— Вы — доктор? — догадался я.

— Да.

— Вас попросила дама, которая живет напротив. — И я рассмеялся. Я не ждал все-таки такого с ее стороны короткомыслия.

— Я приехал, чтобы предложить вам...

— Прекрасно, доктор, прекрасно, — перебил я его. — Я заранее с вами согласен. Все то, что стоит выше вашего понимания, вы объясняете расстроенным воображением, эпилепсией и тому подобным вздором.

Словом, я не противился его предложению и около двух месяцев пробыл в лечебнице, — это было таким удобным предлогом порвать с Ириной.

Теперь, вспоминая этот случай, я хотя и соглашаюсь с тем, что все это можно объяснить моим болезненным тогда состоянием, но такое объяснение было бы далеко не исчерпывающим сущности переживания. Разве не тень влечет нас? Разве не обманываемся мы в предмете своих исканий? Где тот счастливец, который нашел совершенное воплощение созданного им образа, и жизнь не слабое ли, искаженное продолжение вечно неудовлетворенной мысли и неутолимого чувства?



По гулким дворам, похожим на колодцы, ходил Ангел с шарманкой. Звали его человеческим именем Татьяна и облик у него был женский — только по глазам, глубоким и печальным, такой молитвенной синевы, какой не бывает у людей, можно было догадаться, что Татьяна нездешняя и обречена путям земным по мудрому Господнему изволению.

Татьяна снимала угол у каменщика, что жил близ кладбища и клал склепы. Много было детей у каменщика хилых и головастых и чахоточная, высохшая до костей жена. Дети любили Татьяну и за то, что она играла на шарманке и за пряники, и за слова ласковые, а каменщик так о ней думал и говорил жене:

— Ты за Танькой-то поглядывай. Утянет кошелек и поминай, как звали, — «шарманщица»!

И та соглашалась с ним.

Каждое утро, взвалив на спину шарманку и выйдя из подвала, Татьяна смиренно кланялась кладбищенской церкви, — словно светившейся и такой белой среди колышливой зелени, — и понурая брела в город.

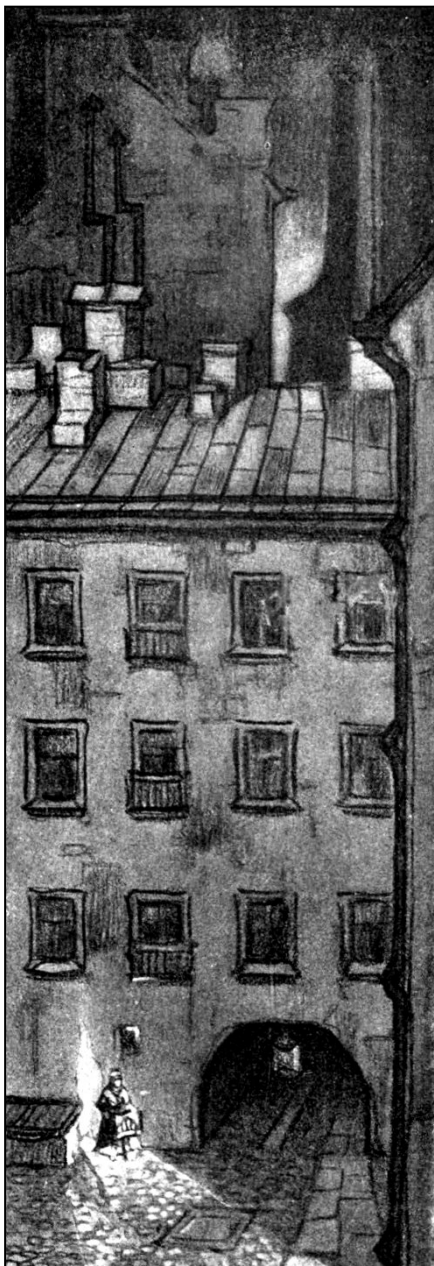
Низко напущенный на глаза платок, вылинявшая кофта, порванная юбка и босые ноги.

Терло шарманкой спину и давило ремнем грудь.

В городе — подобном проклятой мельнице, что не может остановиться, все было то же — и суетня на тротуарах, и автомобили, и вывески, и газетки, и похоронные процессии, и тысячи тысяч возможностей, но ни одна из них не утолила бы Татьяниной скорби: голосила шарманка, то назойливо-резко, то гнусаво, то сипло, три танца: матчиш, кэк-уок и танго; из бесстыдства и похоти возникшие звуки их были тяжки Татьяне, — все помнила она другие звуки, далекие, сладостные, как улыбка Господня — но рука покорно вертела шарманку...

Кого только ни видела Татьяна в окнах: кто кидал монеты, а кто бранился и гнал прочь...

Однажды она вошла во двор большого красного дома, и не обступили ее дети, как на других дворах, но много пораскрылось окон; изо всех глядели женщины: одни непричесанные, наспанные, другие накрашенные и в ярких платьях...



Понравилась им шарманка Татьянина, смеялись, переговаривались, а некоторые даже танцевали — и летели на асфальт, звякали медяки...

Никогда не было Татьяне так горько, как в этот раз, а шарманка словно обрадовалась, что ее весело слушают: озорно гудели все ее дудки, и самые тонкие пищали, как насмешливые бесы...

Долго не могла уйти со двора Татьяна, кричали ей:

— Играй.

— Ой. Ловко. Еще.

— Вином угостим.

А какая-то запела:

Все мы молодые

Погулять охочи.

И вертела Татьяна шарманку, а глаза ее были потуплены и полны слез...

Возвращаясь домой в этот вечер, так поверяла Татьяна сердце свое Господу:

— Трудно мне, Господи. Послал Ты к дому тому, и не стало силы у меня терпеть волю Твою.

Ждала Татьяна голоса, и сказал голос:

— И опять говорю тебе, иди туда.

Воротилась домой Татьяна, села на лавку и сложила на коленях руки, словно их кто связал.

Собралась семья каменщика за стол ужинать, а Татьяна с места не сходит.

— Что ж не ешь? — спросил каменщик.

— Не хочу!

— Сдурела, что ль, шлямшись?

Промолчала Татьяна.

— Только зря спину ломаешь! Поступила бы куда в услужение!

И опять Татьяна ни слова.

Отужинали и легли спать.

Уж и месяц сторожкий вкрадчиво заглянул в подвал и мыши заскреблись в хламе под печью, а Татьяна все сиде-

ла на лавке.

И приснилось младшему сыну каменщика Ване, что позвала его Татьяна ласковым голосом.

Подошел Ваня и видит: не руки сложила она на коленях, а концы белых крыльев.

Вспомнив, что просил ее дать ему повертеть шарманку, вот и позвала.

— Поиграй, — говорит и по голове его гладит.

А от шарманки-то лучи расходятся, словно от фонаря, и малиновая она, цветами расписанная, как яйцо пасхальное, что висит под образом.

Взялся за ручку, — ожили цветы, стали гнуться, качаться и запели:

— Аллилуйя, аллилуйя — слава тебе Боже!

И певичие в церкви так-то — только эти лучше! А лучи от шарманки все ярче!

* * *

В том доме, куда приходила на двор Татьяна, жила другая Татьяна, прекрасная лицом, но темная сердцем — не знала она удержу в распутстве своем, так что иной раз даже товарки осуждали ее.

Не было для нее ни дня, ни ночи, ни людей, ни вещей, все мешалось в пьяной бестолочи.

В раззолоченном зале, с такой же мебелью, где желтые занавеси опускались, подобно сморщенным векам старого, уставшего от блудодейства дьявола, она была словно бы себя забывшая и забытая пленная царица и ни зал этот, ни красное платье с блестками, ни наглый тапер с лицом каторжника за бренчавшим роялем, ничто не мешало видеть ее строгой и недоступной. Ни о чем, озаряющем сердце, не хотела она знать: ни о любви, ни о милосердии, ни о кротости, да и редко кто говорил об этом в доме. Она много смеялась и голос у нее был веселый.

Когда в первый раз заиграла на дворе шарманка, Та-

тьяна спала; одеяло было откинута и бывший у нее, уходя, положил на грудь ей смятую, подмокшую в пролитом вине гвоздику, и если бы этому сказать, что по городу ходит ангел с шарманкой и ищет Татьяну, разве он поверил бы?!

Татьяне почудилось, что в висячем фонаре бьется муха и он звенит; но потом разобрала, что это кто-то поет на дворе, а когда открыла глаза, — оказалось — играет шарманка...

Сначала Татьяна почти не слушала, и мысли ее были, как тяжелые гири, такие несворотливые, но солнечное пятно на изразце печки и звуки шарманки стали яснее, понятнее... Почти что каждую ночь изощрялась Татьяна в напряженно-чувственных движениях этого танца, но верно, что-то было испорчено в шарманке, потому что звучал он теперь по-иному, медленнее и не совсем уверенно, как бы с некоторой грустью...

В резких местах какой-то тонкий голосок жаловался и просил.

Словно бы задремала Татьяна, но сквозь дрему эту, смутную и чуткую, слушало ее сердце:

— Я играю, как надо, — пела шарманка, — а ты слушай, слушай. Ты еще пьяная и, может быть, забудешь, но все равно — слушай. Ты плясала это вчера и будешь плясать сегодня.

— Нет, не это.

— Хорошо, что ты поняла: не это. Я играю, как надо... И как знать, не откажешься ли ты от вина и не уйдешь ли одна из зала. Хочешь, я тебе спою про лужайку?

— Про ту, что была за садом?

— Да, про нее. Ведь не было потом ни одной такой зеленой и такой радостной весны, не было?.. Ты читала писмо. Что он писал тебе? Помнишь? «Благословенна радость моей любви»... А ты здесь... И кто они, что хотят тебя... Ты не останешься с ними... Слушай, слушай, я играю, как надо...

Трудно стало Татьяне, лучше бы замолчала шарманка, а та как будто только того и ждала, и смехом надсадливым, и стоном, и плачем, тоской безысходною — все захолонула...

Подняла с подушек Татьяна тяжелую голову, упала с груди гвоздика — комок красных тряпочек, может быть, не от вина мокрый, — от крови: а кровь из сердца...

Встала Татьяна, подошла к окну и отдернула занавеску.

Посреди озаренного солнцем двора стояла, поникнув, женщина и словно бы безучастно вертела шарманку...

— Шла бы ты играть на другой двор, — крикнула ей Татьяна.

Женщина подняла на нее глаза и стало Татьяне от взгляда их беспокойно.

— Иди, иди!

Но та улыбнулась, да так ласково, будто знала Татьяну давно, увидела ее неожиданно и обрадовалась...

Отвернулась Татьяна, прошла вглубь комнаты, села к столу и налила в стакан пива...

А шарманка словно кричала от пытки тяжелой и раскаивалась...

Как будто в самой комнате возникали звуки, росли, путались и обрывались...

И кровать, и сброшенное на кресло платье, и коробка конфет, и стакан с пивом — все звучало, разноголосило, мешалось в одно, и кружилась голова у Татьяны...

— Слушай, слушай. Я играю, как надо.

— А пошла ты к черту! — вскинулась Татьяна.

Блеснув из окна вниз, — рассыпались по асфальту серебряные монеты и рама захлопнулась...

Но шарманка не унималась...

— Слушай меня. Слушай.

Каждый раз теперь, возвращаясь домой и ставя на лавку шарманку, Татьяна светло улыбалась.

* * *

— Что ты зубы-то скалишь? — заметив это, спросил кто-то каменщик.

— Сестру видела, — ответила Татьяна.



Каменщик не слышал раньше, чтобы она поминала о какой-либо родне, и решил недоверчиво:

«Сестру, не сестру, а может, брата; а не брата, так свата».

— Сестру, — повторила Татьяна.

— Вроде тебя? Аль хуже?!

— Что ты всех судишь, Степан? Дал тебе Господь здоровье и силу — и ты легче других несешь крест свой, а слова твои, как осколки камня из-под твоего молотка.

Показалось каменщику, что изменилась Татьяна, и лицо, и голос ее стали другими — да и говорила она, как по писанию. Подивился каменщик, замолчал.

Ни на какие другие дворы больше не заходила Татьяна — только на двор дома того; и та, кого называла она сестрой, открывала окно, садилась на подоконник и кивала ей, кидала монеты, но раз плеснула в нее вином; несколько дней после этого не отдергивалась на окне занавеска и было оно, как бельмо.

И опять усомнилась Татьяна.

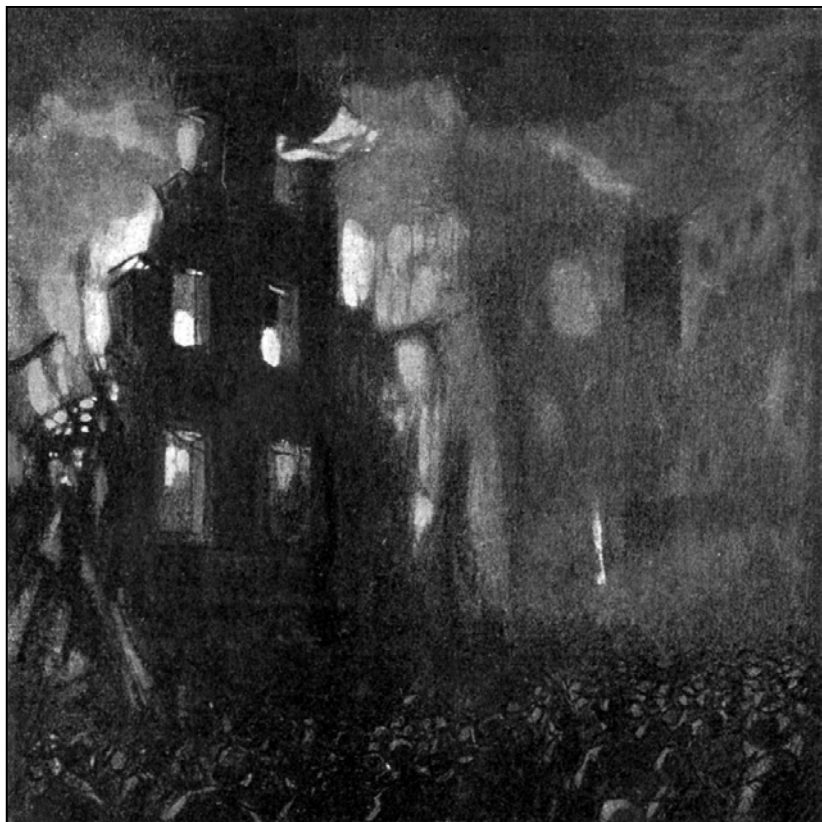
— Укрепи меня, Господи, — просила она и ждала, и вздыхала, и теряла надежду, так что в одно пасмурное, ветреное утро до того предалась отчаянью, что уже нехотя подняла шарманку и пошла с мыслью о тщете скорби своей.

Дом стоял в глухой части города в узком переулке. Днем в переулке этом было тихо и мало встречалось прохожих, а тут, когда свернула в него Татьяна, увидела беспокойную, шумевшую толпу; от дома остались лишь полуобвалившиеся стены, которые курились белым, быстро таявшим дымом; потрескивали и шипели водяные струи, ища в черных кучах обуглившегося лома затаившие огонь куски дерева. В одном из окон как-то уцелела драпировка и трепал ее ветер. Татьяна стала с другими, чтобы послушать, что говорят. Человек в соломенном картузе рассказывал об одной из живших в доме, что она вышла ночью на лестницу, облила керосином дверь и подожгла.

Тяжелогляд-парень выбранил ее непристойным словом и спросил:

— Забрали?

— Сгорела — паскуда!



Догадалась Татьяна, стало радостным и благодарным ее лицо...

И кто-то крикнул:

— Смотрите!..

Но на том месте, где она стояла, уже никого не было; что увидел крикнувший, почему он так удивился и так странно радостно прозвучал его голос? — мало ли что могло показаться в такой толпе.

* * *

Ни каменщик, ни жена его, ни дети не могли сказать, кто из них вставал ночью и отпер Татьяне дверь. Должно быть, уж очень крепко они спали.

Шарманка на лавке, дверь замкнута на задвижку, а Татьяна нет.

Потолковали об этом и забыли; только вечером, когда сели за ужин, диву дались, куда ушла Татьяна без шарманки и почему не вернулась, а тут Ваня еще рассказал про свой сон.

Прибрали со стола, а спать не ложились; ждали, что придет Татьяна.

Не пришла.

— Шарманку-то, должно, за долг нам оставила, — решил каменщик.

И радовались дети шарманке; только повернул Ваня раз, другой ее ручку — не играет.

— Сломалась...

— Не трожь, спать время, — сказал каменщик и дольше, чем это бывало раньше, перед тем, как лечь, крестился он на темную поцарапанную иконку «Всех скорбящих радости».

КРОВЬ

(Из записок убийцы)

Я убил человека, убил без малейшего колебания и, если бы он воскрес, то убил бы его снова. У меня нет к нему ненависти, я исполнил лишь то, что требовало от меня мною выстраданное, человеческое. Все произошло так случайно, так быстро и просто, что если бы не эта камера, не эта решетка, не упорные шаги часового там на дворе, — я бы усомнился в действительности. Для следователя мое дело представляется весьма ясным: подрался в нетрезвом виде из-за проститутки и проломил человеку череп; вернее, оно ему никак не представляется, просто дело за номером таким-то. Тысячи похожих дел прошли через его руки. Он уже давно привык ко всякого рода кровавым изысканиям и не задумывается. У него лихо закрученные, холеные усы и тонкие нежные руки с тщательно отделанными, розовыми ногтями. Усы он то и дело разглаживает носовым платком, а руки кладет одну на другую и, стараясь казаться внимательным, рассеянно взглядывает на них и успокоенно шевелит пальцами; невозмутимейший господин. Ему давно неинтересно знать, кто кого убил, когда и за что.

— Вы убили этим камнем? — спросил он с ленивой небрежностью.

— Да, этим.

Булыжник был перевязан накрест веревочкой, занумерован и снабжен печатью. Да, это тот самый булыжник. Я ударил им посередине лба. Негодяй нелепо задержал головой, застонал и упал навзничь. Я был не уверен, что покончил с одного удара и ударил еще в висок, можно сказать, ударил с математической точностью; кровь залила мне руку. Он странно открыл рот, словно собирался что-то сказать. Так и остался... Я все подробно изложил следователю; слишком подробно. Теперь я очень сожалею, что так распространялся. Ему показалось, что я хотел оправдаться.

— Странно, очень странно, — недоверчиво покачал он головой, узколобой и прилизанной, как у мокрого цыпленка. Он не поверил ни одному моему слову. Следовательно предполагается быть недоверчивым: он должен умозаключать по выслеженным им фактам.

Завтра один знакомый психиатр, — полувыживший из ума от алкоголя и сифилиса, — обязан, по долгу службы, испытать мои умственные способности. Если б я мог отложить свое решение, мне было бы любопытно понаблюдать его за этим занятием, но надо торопиться. Я чувствую, что любовь к жизни прибывает с каждой строкой. Надо суметь вовремя сломать перо. Полотенце, которое лежит сейчас у меня на коленях, я разорву вдоль, свяжу и скручу из него жгут; думаю, что он меня выдержит. Я это зановошу для того, чтобы заставить себя спокойнее думать о смерти. Я сам себе судья и палач. Я знаю, что девяносто девять процентов за то, что меня оправдали бы. Великолепная канва для умелого защитника: подсудимый был, несомненно, в состоянии аффекта, это скорее несчастный случай, чем преступление и так далее, но я оправдать себя не могу, потому что такое оправдание равносильно обвинению.

— Вам не надо было ввязываться, — скородумно решил следователь. — О, конечно! Пустейший случай! Это ведь повторяется каждый день, чуть ли не на каждом шагу. Стоит ли обращать внимание: какой-то озверевший развратник не заплатил проститутке обещанных двух рублей и избил ее. Вы-то здесь при чем? Какое вам дело? Они нарушали общественную тишину, и прекрасно — пускай нарушали; на это есть участок и мировые судьи. Нельзя же за это убивать. Конечно, — ненормальный, конечно, в состоянии аффекта.

— Что ты можешь чувствовать! А? Два рубля тебе? Нет, ты скажи. Два рубля? Почему два, а не двадцать два? А? — так кричал осипшим голосом бритый, толстый, похожий на кубарь человек, весь вылезая из барашкового воротника и размахивая перчаткой у глаз прижавшейся у стены проститутки; белый вязаный платок ее слез на затылок, волосы растрепались и молодое, миловидное, но припухшее от бессонных ночей и пьянства лицо выражало испуг и отчаяние.

— Мои деньги, отдайте, мои, стыдно вам! — и она беспомощно хватала его за руки.

— Не цепляйся, вот! — Он хлестнул ее перчаткой по лицу.

— Не смеете, нельзя меня бить, — злобно выкрикнула она и заплакала.

— Тебя-то нельзя? А! Можно, очень даже можно. — Она ошалело метнулась от его удара, но он схватил ее за волосы. Нечеловеческий, отвратительный визг огласил улицу. До этого мгновения я стоял на противоположном углу и наблюдал. Я бросился к ним. Чуть не упал в канаву — поправляли канализацию и мостовая была разворочена. «Есть же мера человеческой мерзости». Эта мысль огнем пронизала мозг и рука моя пролила кровь. Женщина ужаснулась и убежала. Я бы мог тоже скрыться. Место было глухое, четвертый час ночи, поблизости ни городского, ни дворника; убитый лежал у моих ног и черным пятном расходилась на тротуаре, по снегу, кровь. Я вытер полый пальто пальцы и позвонил у первых ворот; долго никто не выходил. Позвонил еще. Загремел болтом, — и отпер бородатый дворник без шапки, в красной вязаной фуфайке. Он глупо моргал со сна и ежился от холода.

— Я убил человека, — сказал я ему.

Он не понял.

— Я убил человека.

Он высунулся наполовину из калитки и, увидев тело, заголосил: «Держите! Караул!»

— Я никуда не убегу, напрасно вы так кричите. Одевайтесь и пойдем. Я не знаю, где здесь участок.

Но он уже повис сзади на моей шее, валил меня и продолжал голосить. Услышали из дворницкой и еще откуда-то. Сбежались, окружили, бестолково кричали, держали меня за руки. Кто-то побежал за извозчиком. Опасливо и стремительно залился свисток. Прибежал запыхавшийся городской и, хотя я не сопротивлялся, меня ткнули в сани и, молотя кулаками, подмяли под ноги.

Оказалось, что убил музыканта из загородного ресторана «Золотой якорь». Он играл там на цимбалах и был очень

приятен публике. Он женат и у него четверо детей.

— Пустили семью по миру, — негодовал околodочный, когда писал протокол.

— Что делать, господин околodочный, что делать! Но я еще раз повторяю, что если бы он воскрес, я бы убил его снова.

Кровь — это святой сок, это красная песня солнца, это мать любви, это — наивысшая мудрость и наивысшее счастье. Пролитая кровь — это отчаяние, это вызов небу, это глубочайшее страдание. Но если кровью утверждается человеческая правда, то где тот судия, который ее осудит? Ковчег ее плывет через тысячелетия по реке крови. Справедливость там, где чаши весов в равновесии. Я отнял у другого жизнь и ясно, что и мне нельзя быть; иначе, как же бы я оправдал свою боль? Убивая себя, я этим самым равняю свою жизнь его жизни, мою кровь его крови. Я умираю, сознавая, что я поступил так, как должен был поступить всякий на моем месте. Единственное, что меня печалит, это некоторое самолюбование, которое я за собой заметил, набрасывая эти строки. Я бы хотел, чтобы все здесь изложенное было предано гласности. Мне кажется, что моя смерть достойна внимания.

Я сейчас перечитал написанное и открыл в себе писателя. Во мне шевельнулось даже что-то вроде авторской гордости. Это, оказывается, сладенькое и довольно мелкое чувство: выходит так, что о каких бы страданиях ни писал писатель, ему все-таки приятно. Вот я убил. Мне хотелось исповедаться, открыть уязвленную душу и вдруг, неожиданно для себя, испытываю удовольствие, что вышел прямо-таки недурной рассказ. Однако, пора сломать перо. Прощайте, господин судебный следователь. Очень бы хотел сим документом поколебать вашу невозмутимость.

Прошу нижеследующее передать матери (адрес):

«Милая мама! Ты знаешь — я тебе никогда не лгал, и на этот раз поверь мне: твой сын — не убийца. Не думай, не разгадывай, — только поверь. Ты религиозна и это тебя утешит. В эту минуту я вспоминаю, как ты молишься; такая старенькая, стоишь в углу на коленях, сложила на груди су-

хонькие, восковые ручки и губы твои шепчут мое имя. Я, мама, всегда с тобой. Любовь не умирает. Я буду жить в твоей душе, в твоих молитвах. Я знаю, ты меня простишь за принесенное тебе горе. Я умираю с мыслью об этом и мне легко. Целую тебя, моя светлая, хорошая. Прощай.

Леля».

КРАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

I

В городе появился красный автомобиль. Около трех часов дня его много раз видели на Невском и набережной: с изумительной ловкостью устремлялся он между экипажами и трамваями. Мелькнув ярким пятном, останавливал любопытных и мгновенно пропадал в сутолочной пестроте улицы. На него обратили внимание, и вскоре о нем стали ходить невероятные слухи; с каждым днем они расцвечивались новыми фактами: рассказывали, что ни шофера, ни пассажира в автомобиле не было. Очевидцев оказалось так много, и все утверждали с таким упорством и такими подробностями, что даже самые недоверчивые поколебались. Слухи попали в газеты, и это-то обстоятельство для почтового чиновника Сватикова имело роковые последствия. Вот что с ним случилось. Вернувшись со службы, он после обеда, по неизменной, пятнадцатилетней привычке, с приятностью растянулся на удобнейшем продранном клеенчатом диване и, надев очки, принялся за чтение вечернего листка. Наибольшее внимание Сватиков уделял объявлениям, хронике происшествий и смеси; объявления располагали к мечтательности: все было так дешево и так необходимо; хроника способствовала житейской опытности и побуждала к размышлениям, а в смеси иногда попадались полезные сведения на разные случаи домашней необходимости.

Первое, что бросилось в глаза Сватикову, когда он развернул листок, была пространная заметка под жирным заголовком — «Таинственный автомобиль». Прочитав ее, он поднял на лоб очки и приложил указательный палец к носу, что было у него признаком большого умственного напряжения. Сначала Сватиков отнесся к заметке подозрительно, но приведенный в ней рассказ инженера Г. был очень правдоподобен. Не менее убедительно было и то, что на ав-

томобиль, как говорилось в конце заметки, обращено внимание полиции, и, кроме того, Сватиков вспомнил, что он даже сам его как будто видел; пустой или не пустой — он тогда, конечно, на это не обратил внимания, но видел, совсем недавно видел, дня четыре тому назад... и Сватиков почти поверил.

— Это, — подтвердил он вслух свое заключение, — это штуки, — и ощутил смутное беспокойство. Словом «штуки» он определил то главное, чего не сумел бы объяснить, но что остро почувствовал. Поднялся с дивана, с газетой в руке подошел к двери хозяйкиной комнаты и легонько постучал концами пальцев.

— Аграфена Ивановна, вы отдыхать легли, не спите?

— Нет еще, — ответил скрипучий, старческий голос, — а что вам?

— Интересную, понимаете, вычитал историю.

— Все про убийства разные?

— Нет, не про убийства. Вот, послушайте.

Расставляя и чеканя слова, он прочитал заметку.

— Что, как вам это покажется?

— Инженер-то с пьяных глаз, должно быть.

— Вы так полагаете? Нет, тут, я вам доложу, такая собака зарыта, что только руками развести. Тут... — Сватиков не находил слов, — тут дело почище...

Он почувствовал, что Аграфена Ивановна его не поймет, и отошел к окну. Раздумно засмотрелся на уличную бестолочь.

— Это штуки... — повторял он, бормоча себе под нос и прищулив один глаз, — это штуки... А ведь может сейчас проехать.

От этой мысли беспокойство его усилилось. Он вернулся к двери и с час, если не больше, не давая Аграфене Ивановне заснуть, рассуждал с нею о разных разностях.

Ночь Сватиков провел тревожно, часто просыпался от уродливо-тяжелых видений, торопливо зажигал свечу и растерянно оглядывал комнату.

За стеной с легким присвистом похрапывала Аграфена Ивановна. Это его несколько успокаивало. В автомобиль он окончательно поверил и чем больше о нем думал, тем сильнее овладевало им беспокойство; он чувствовал, что между ним и происшествием установилась странная, загадочная связь. Ровная жизнь его нарушилась самым нелепым образом, и он не знал, что предпринять, чтобы привести свои мысли в старый, несложный порядок. Сватиков встал с головной болью, тужурку одел, не почистив, выпил наскоро стакан чаю и от плюшки, которую обыкновенно съедал с большим аппетитом, отщипнул всего кусочек и с трудом прожевал. Уходя, забыл галоши. Вернулся с лестницы. Пошел не по левому, как всегда, а по правому тротуару и заметил это, лишь поравнявшись с лавочкой, в которой покупал папиросы и бумажные воротнички. Хотя в лавочку заходить было незачем, потому что оставалось еще с десяток папирос, а воротничку было всего три дня, но Сватиков зашел. Его побудило желание узнать, что думает об автомобиле почтенный Лука Арсентьевич.

— Наше вам! — стараясь казаться благодушно настроенным, начал Сватиков с обычного приветствия. — Как живете-можете?

Лука Арсентьевич, щуплый, похожий на восковую куклу, благообразный, седой старичок, поклонился, слегка поведя вбок головой, почтительно потряс руку и улыбнулся заготовленной для постоянных покупателей искательной улыбкой.

— Благодарим. Помаленьку. Как вы-с?

— Квитанцуем и штемпелюем, — вспомнил Сватиков недавно слышанное им в почтальонской выражение.

— Квитанцуете?.. Так-с! — с одобрительным смешком переспросил Лука Арсентьевич. — Папиросочек?

— Совершенно правильно, десяток.

Лука Арсентьевич протянул руку к верхним полкам.

— Об автомобиле читали? — доставая кошелек, как бы безразлично спросил Сватиков.

— Как же! Читал-с. Кажется, во вчерашней было?

— Что это, как по-вашему?

— Жулики! — отсчитывая с рубля сдачу, не задумываясь, решил тот.

— Жулики, думаете?

— А то кто же? Отвод глаз с грабительской целью...

— Да ведь в нем же никого нет.

— Как же это никого? Кто-нибудь да есть! Только устройство такое...

— А может быть, не устройство, а что-нибудь этакое... — и Сватиков хитро подмигнул, — ну, до свиданья, спешить надо.

Он шел быстро, часто оглядываясь назад, и при виде каждого автомобиля в нем замирало сердце. На службе, плохо скрывая волнение, он со всеми заводил разговор на ту же тему и еле смог досидеть до конца занятия.

III

Вечером, чтобы как-нибудь развлечься, Сватиков брел на гитаре, выводил на жилетке пятна, раскладывал пасьянс и, наконец, решил пойти в баню. Взяв под мышку аккуратно связанный узелок с бельем, заказал прислуге к своему возвращению «самоварчик» и отправился.

Улицы гнило дышали сыростью, кривились в черных лужах огни, резко выстукивали звонки трамваев и ляцкали копыта. Шумы города стали яснее и разделеннее. Сватиков останавливался перед расточительно светлыми витринами, купил у разносчика яблок, завернул в портерную, выпил две кружки пива и даже приволокнулся за пухлощекой милостливой девицей в черной косынке: словом, старался вести себя легкомысленно. Вышел на площадь, зашагал, оги-

бая лужи, на другую сторону; заспешил от трамвая и в то же мгновение услышал позади себя настойчивый басистый гудок автомобиля.

Автомобиль ослепил огнями, обрызгал грязью и мягко покатил через площадь; он был красный... У Сватикова захолонуло сердце. Мало сознавая, что делает, он во весь голос крикнул извозчика.

Сватиков редко ездил на извозчиках, а если случалось, то долго и бранчиво торговался. Теперь ему и в голову не пришло торговаться: прыгнул в пролетку, выронил узелок, рассыпал яблоки и, устремив вперед руку, оголтело заторопил:

— Вон, за ним! Видишь? Поскорее, братец! Жигани кнутом! так ее! А, черт!

Автомобиль скрылся в улице. Извозчик усердно дергал вожжами и нахлестывал лошадь.

— Разве за им поспеешь?!

— Разве! разве! — горячился Сватиков. — Чертов стул! Кнута ему жалко!

Свернули в улицу. Автомобиль стоял около богатого особняка с крытым подъездом, ярко освещенными во втором этаже зеркальными окнами.

Сватиков в полной растерянности слез с извозчика. Былолюдно и потому не страшно. Автомобиль сердито шумел и напряженно вздрагивал, он был пуст... Широким полукругом лег свет от его фонарей на мостовую.

«Вошли в дом, — рассудил Сватиков, — самый обыкновенный автомобиль».

Он заглянул в подъезд. Мраморная лестница, по ней красная дорожка, зеркала, затейливые колонки, а у правой стены, под электрическим трехсвечником, на стуле с высокой резной спинкой, обмедаленный швейцар с бакенбардами. Сватиков почти решил войти и спросить, кто приехал; не господин ли Бибиков? — вспомнил он первую попавшуюся фамилию. В это мгновение автомобиль часто запыхтел, застучал чем-то металлическим и, блеснув стеклами, покатился.

Сватиков замер от ужаса и неожиданности; он ясно видел, что в автомобиле никого не было...

IV

Сватиков лег, не раздеваясь и не погасив лампы. Мысли его истощились. До мельчайших подробностей вспоминал он происшедшее; срывался с дивана, возбужденно шагал по комнате, крестился мелкими крестиками и беспомощно повторял:

— Господи, что же это такое? Господи!

Он решил пойти утром в участок и заявить... Может, разыщут. Надо же это расследовать.

Аграфена Ивановна на этот раз спала тихо. Углубляя молчание, слишком четко тикали часы. Зашипели. Пробило три. Сватиков встал и, не зная зачем, подошел к зеркалу. Не поверил своему отражению: чужим и бледным было его длинное лицо, а в расширенных глазах сухой блеск. Сватиков пощипал усы, другой, в зеркале, сделал то же. От этого стало еще более жутко... Лег, уставился на зыбкий световой кружок на потолке над лампадкою, подумал, что, если на него долго глядеть, то может, захочется спать. Не мог перебороть себя: перевел взгляд на печку. Опять встал. Ходил из угла в угол. Всползала на потолок и падала вниз его тень... Пробило полчаса... Четыре... Еще полчаса... Пять... Лампа погасала. Поднял на окне занавеску. Чуть начинало светать... Белесовели улицы... Явственнее вычертились дома. Вдруг в передней резко задребезжал звонок. Сватиков оторопел.

— Кто бы это? — удивился он. — Телеграмма разве?

Степанида, видимо, заспалась и не слышала. Звонок повторился настойчивее... Еще... и еще... Шаркая босыми ногами и что-то бормоча спросонок, пошла отпереть.

— Кто там?

— Здесь живет Сватиков? — ответил густой мужской голос.

Звякнул дверной крюк.

— Небось, спит, — предупредила Степанида. — Вот в эту дверь.

Неизвестный вошел, не постучавшись. Он был высокого роста, в цилиндре, в полосатом английском пальто и перчатках; светлая борода его была расчесана на обе стороны, и усы, в меру щеголевато, закручены вверх; энергичное жесткое лицо, нос с горбинкой, взгляд прямой, неподвижный, словно стеклянный.

— Я имею честь говорить с господином Сватиковым? — сказал незнакомец, чуть приподнимая цилиндр и показывая высокий чистый лоб.

— Я — Сватиков. Что прикажете?

— Вы заинтересовались моим автомобилем, и я заехал с целью предложить вам прокатиться.

Сватиков от страха лишился слов.

— Вот оно... Вот оно...

Тысяча молоточков застучали в мозгу.

— Право, это... — запинаясь, насилу выговорил он.

— Это все равно... — перебил его тот, — одевайтесь.

Сватиков собирался возразить, что сейчас еще очень рано, что он не знает, с кем имеет честь... и что, наконец, у него нет никакого желания кататься... Но незнакомец глядел на него уверенно и неуклонно; взгляд этот утверждал, что противиться бесполезно, и Сватиков повиновался...

Незнакомец посторонился, пропуская его в переднюю.

Едва попав в рукава, Сватиков натянул пальто и с фуражкой в руке вышел первым на лестницу.

— Грязная у нас лестница, — сказал он, желая ободрить себя и стараясь придать своему голосу возможную естественность.

Незнакомец промолчал.

— Очень грязная... — ненужно повторил Сватиков, — уж извините.

Вышли на улицу. Автомобиль ждал. Сидевший у ворот дворник при их появлении поднялся. У Сватикова от волнения дрожали колени.

«Можно еще не поехать», — с последним усилием воли подумал он. Но незнакомец открыл дверцу и пригласил жестом.

— Садитесь.

Сели. Дверца захлопнулась, бешено заклокотало под ногами, и автомобиль двинулся. Понеслись с разительной быстротой, все прибавляя и прибавляя ходу...

Было рассветно и пустынно.

Мелькали насторожившиеся дома и загадочно-желтые огни фонарей. Сватикову казалось, что все это во сне, вот сейчас проснется и ничего нет... Куда они едут? Кто такой этот господин? Пустой автомобиль — тоже выдумали!.. Вот чепуха-то!

— Быстро мы... — обернулся он к незнакомцу. Вскрикнул и попятился в угол. Рядом никого не было... В беспредельном ужасе схватился за ручку дверцы, но не почувствовал своего прикосновения... Толкнул что было силы коленкой, но ничего не ощутил... В отчаянии ударил кулаком в стекло, и опять то же...

— Спасите! Спасите!! — обезумел Сватиков. — Спасите!!!

Но не услышал своего голоса...

Автомобиль свернул в переулок, свернул в другой, перелетел мост...

— Спасите!!!

Сватиков метался из стороны в сторону, колотился головой и грудью в обивку, вскакивал с ногами на сиденье, падал и опять колотился, но все было напрасно: он не ощущал себя... Словно растворился в пустоте...

Автомобиль мчался...

На третий день в газетах появилась следующая заметка:

«28-го марта, почтовый чиновник Ависсарион Федорович Сватиков, проживающий в доме № 5 по Большому Сампсониевскому проспекту, выйдя рано утром из своей

квартиры, больше домой не возвращался. По проверке оказалось, что Сватиков учинил буйство, попал в участок, а оттуда был препровожден в дом для умалишенных».

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Я не суеверен и смотрю на вещи в достаточной степени спокойно и уравновешенно; поэтому случай, о котором я вам хочу рассказать, был мной разобран во всех подробностях, и все-таки я до сих пор не могу найти объяснение ему.

За несколько дней до объявления войны у меня собралось человек пять моих приятелей. Засиделись до поздней ночи, а когда собрались уходить, один из них, Яша Фанштейн, очень талантливый музыкант и бесшабашный, веселый малый, уже в шляпе и пальто, вернулся из передней в кабинет, сел за пианино и сказал:

— Милорды, я вам сыграю на память о себе и об этом вечере один пустяк, который... Одним словом, вы все сейчас поймете.

Мы ждали какого-нибудь дурачества, но Яша стал вдруг очень серьезен, и его тонкие, быстрые пальцы взяли резкий и тревожный аккорд.

Через две-три минуты мы были во власти его музыки. Он играл так вдохновенно, как никогда раньше. Что-то скорбное и торжественное, как последняя жертва любви, звучало так полно и согласно, что, когда Яша отнял руки от клавиш, мы оставались несколько мгновений в сладостном, светлом оцепенении.

— Это — твое? — спросил я.

— Да, почти.

— Если и почти, то все равно прекрасно.

— Со мной бывает, что я вижу какой-нибудь сон, — сказал польщенный Яша, — и запоминаю его в точности; это я записал во сне. Вошла в комнату какая-то старуха в белой косынке и принялась играть на рояле, а когда я спросил ее, что это такое, она выколупнула клавиш, вот этот, — и Яша показал, какой именно, — и так больно ударила меня им в висок, что я проснулся.

— Печальный случай! — пошутил кто-то.

— Да, Яша, неладно.

— Принимай на ночь бром.
И все, весело смеясь, направились в переднюю.

* * *

Четверо из присутствовавших у меня в описываемый вечер по объявлении войны были призваны из запаса на действительную службу, в том числе Яша и я.

До Варшавы мы с Яшей ехали вместе, а потом я его потерял.

То, что произошло дальше, до такой степени странно, что похоже больше на продолжение Яшина сна, чем на действительность, однако это было на самом деле и совсем-совсем недавно.

Не буду рассказывать о нашем чрезвычайно трудном походе на Львов и жестоком бое; все это так спутано и трудно передаваемо, что я и слов таких не найду, чтобы у вас получилось настоящее впечатление. Хотя я и серьезно был ранен, да к тому же, когда упал, и лошади меня достаточно помяли, но сознания я не потерял и прекрасно помню все вплоть до того, как мне сделали в госпитале перевязку. Позднее я крепко заснул и проспал часов четырнадцать. Были какие-то смутные промежутки, когда я просил пить, но сейчас же меня опять клонило на подушку и голова тяжелела, точно наливаясь свинцом.

Раненых было много, и нас поместили по частным госпиталям, тем более что встречали нас как нельзя желать лучше, и каждый был рад хоть чем-нибудь услужить.

Меня поместили в доме одного очень известного польского помещика, мать которого — сердечная, живая старуха — обласкала меня, как только могла, так что я почувствовал себя, словно у родных. Она хорошо говорила по-русски, и мы на второй-третий вечер беседовали уже самым душевным образом.

Дом был большой, на конце города, со старинной мебелью и фамильными портретами, к которым у меня по-

чти болезненное влечение. Я могу по целым часам простаивать перед изображением какого-нибудь строгого и благородного старца в камзоле и при шпаге, и он оживает в моем воображении так ясно, словно я его хорошо и давно знаю.

Узнав про такую мою любовь к старинным портретам, пани Ядвига (так звали хозяйку дома) охотно рассказала мне чуть ли не всю свою родословную, после чего мы совсем и крепко подружились.

Когда я понемногу начал вставать и двигаться, моей любимой комнатой стала небольшая уютная гостиная, где около окна стояло глубокое, удобное кресло, в котором век бы сидел и мечтал. Тут же, между прочим, было пианино.

Как-то раз, за утренним чаем, пани Ядвига сообщила мне, что к ней поступил еще один раненый и она поместила его во флигеле, что он очень плох и, пожалуй, умрет. На этом наш разговор и кончился, а вечером мы сидели в гостиной: я в кресле, а пани Ядвига — на диване за пасьянсом.

— Ну что, как ваш новый пациент? — спросил я.

— Очень плох! — и пани сокрушенно вздохнула. — И какое у него хорошее лицо, если бы вы видели!... совсем молодой.

— Завтра схожу, навещу.

— Ну-ну, этого-то я вам не позволю; я нарочно положила его в флигеле, чтобы вы не волновались.

— Да ведь я почти здоров.

— А вчера какая была температура?

— Пустяки.

Старушка смешала неудавшийся пасьянс, посмотрела на часы, сказала, что пора ужинать, и пошла распорядиться.

Вернулась она заметно встревоженная.

— Что вы, пани? — спросил я.

— Казимир приходил, говорит, что раненому хуже. Сейчас доктор придет, я послала, — и старушка опустила на стул, стоявший у пианино.

— Вы, наверное, играете? — спросил я.

— Да, только все старые вещи, я не люблю новой музыки, — и она подняла крышку пианино. — Давно не играла — даже запылилось,

Она смахнула носовым платком с клавиш пыль и взяла аккорд. Мне показалось, что эти тревожные и резкие звуки я уже раз где-то слышал.

За первым аккордом последовал другой, и, когда их волна наполнила мою душу, я вспомнил, что то, что сейчас играла пани Ядвига, играл в тот вечер накануне войны у меня Яша.

Трудно передать, что я почувствовал — это было повторение или продолжение Яшина сна, но теперь его видел я. На голове старухи была белая шелковая косынка, и эта подробность окончательно убедила меня в каком-то роковом совпадении.

Когда она кончила и повернула ко мне лицо, я спросил:

— Что это вы играли?

— Вот уж и не знаю. Это моя мать играла.

— Барыня, — позвала горничная, — вас Казимир спрашивает. Умирает раненый-то.

Старушка тотчас встала из-за пианино и направилась к двери.

— И я с вами пойду, — сказал я ей.

— Не надо, голубчик! Ну, зачем вам волноваться?

Однако я не послушался и, накинув поверх халата пальто, пошел.

* * *

Флигель стоял в саду, шагах в ста от дома. Дул сильный ветер, и старые деревья протяжно шумели. Казимир шагал впереди и светил нам фонарем.

— Вас продует, — забеспокоилась за меня пани Ядвига.

— Ничего со мной не случится, а вот вам в одном капо-

те не следовало выходить.

Я все еще находился под впечатлением странной музыки и чувствовал себя крайне тревожно.

Когда мы вошли во флигель, нас встретила сестра милосердия, миловидная, тихая девушка с детски чистыми глазами.

— Что у вас? — спросила пани Ядвига.

— Плохо.

Раненый лежал в последней комнате и к нашему появлению остался совершенно безучастен.

Немыслимо передать мое удивление и растерянность, когда я узнал в нем Яшу. Голова его была забинтована, и он очень похудел.

— Боже мой, Яша? — воскликнул я.

Но он меня не услышал, потому что был без сознания.

— Ваш знакомый? — спросила пани Ядвига.

— Не только знакомый, но даже очень хороший товарищ по гимназии, — ответил я и, подвинув к постели Яши стул, сел, после чего спросил сестру милосердия:

— Он приходил в сознание?

— Несколько раз сегодня говорил, а то все бредит или вот так, — и она указала на больного.

Яша поглядел на меня, о чем-то напряженно подумал и спросил:

— Семен Васильевич?

— Да, Яша...

— Вот встреча! Ты тоже ранен?

— Уже почти здоров... пустяки.

— А меня в голову.

— В висок? — не удержался я от вопроса.

— Да, — и Яша слабо пошевелил рукой, словно хотел поднять ее и показать, в какой висок ранен. — А кто это играл сейчас? — тотчас же спросил он.

Я взглянул на пани Ядвигу.

— На рояле, — добавил Яша.

— Вы, сестра, слышали? — спросил я.

Девушка сделала мне рукой знак, из которого я понял, что мне не следует принимать это всерьез, потому что Яша

просто бредит, но я был об этом другого мнения и спросил:

— А что, Яша, играли?

— А это... ну, знаешь, что я тогда у тебя...

— Вероятно, тебе показалось.

— Нет... я был в полном сознании и слышал, как вы вошли, только говорить не хотелось. Удивительно все случается!

Яша задумался, а затем сказал уже кому-то прибредившемуся:

— Какой же это Шопен? Ничего похожего. Оставьте глупить! Слышите?

Потом он затих и лежал неподвижно, с широко раскрытыми, ничего не видящими глазами.

«Он умрет!» — с уверенностью подумал я.

Как бы в подтверждение моей мысли, Яша глубоко вздохнул и провел рукой по одеялу, словно хотел что-то взять; затем рука бессильно опустилась, он вздохнул еще глубже и закрыл глаза.

Я поднялся и, еле владея собой от охватившего меня волнения, вышел из комнаты.

— Про какую он музыку говорил? — спросила меня в саду пани Ядвига.

— Про ту, что вы играли, — ответил я.

— Да из дома не слышно — окна закрыты.

— А он слышал.

Я чувствовал необъяснимое раздражение против старухи и не хотел поделиться с нею тайной души Яши.

Всю ночь я провел в тяжелом смятении, напрасно пытаясь постичь что-либо в том, что произошло. Все объяснения оказывались недостаточно убедительными и смятение мое не проходило. За внешностью жизни нашей я угадывал что-то главное, чего мы не знаем и что нам открывается лишь иногда в непостижимых, смутных образах.

После того, как Ардальону Семеновичу, по его выражению, «подали звонок с того света» и он пролежал два месяца в постели с отнявшимися руками и онемевшим языком, у него явились некоторые значительные мысли...

До того времени Ардальон Семенович жил неопределенно: неопределенность, вообще, очень была ему свойственна — и в квартире его, и в костюме все себя до конца не показывало; случалось, что люди, знавшие его несколько лет, решительно ничего не могли о нем сказать, ни худого, ни хорошего; занимаемое им место хранителя Синодского архива тоже ни с какой стороны его не являло; даже в мелочах, в том, например, как он ставил палку, было что-то среднее между желанием поставить и положить; нельзя сказать, чтобы Ардальон Семенович избегал знакомых, но со всеми он был как бы полужнаком — если кто заходил к нему, встречал любезно, однако не без замкнутости, так что чувствовалось: сидишь — хорошо, и уйдешь — не худо; сам же бывал в гостях, только когда убедительно звали, и оставался недолго.

Оправившись от болезни, он стал много общительнее и, хотя еще главного не высказывал, но уже кое-что намечалось в его словах.

По воскресеньям у него начали собираться к вечернему чаю; подобрались люди мало схожих взглядов, но, как часто бывает, это-то всех и связало, да и Ардальон Семенович оказался очень удобным, не стесняющим хозяином, и засиживались у него иной раз до поздней ночи.

Бухгалтер из банка, Иван Сергеевич Порфилов, обстоятельный, твердых понятий, иногда с наскоком, а часто и так себе, не разберешь что: раззудится, как муха в пустом чердаке, и ничего путного не скажет; Артамон Петрович Терехов, бывший начальник филоксерной команды, и оставивший службу по неясной причине, кутила, насмешник и враль; Никодим Павлович Заступин, консисторский чиновник, без

меры суетливый, придирчивый и на удивление памятли-
вый: так целыми страницами и садил, доказывая, сколь он
начитан в богословии; и антиквар, Семен Карпович Гусев,
тихий, с ласковым подходцем и неожиданными, весьма убе-
дительными примерами — все это были у Ардальона Семен-
овича постоянные, остальные же в зависимости от случаев
и всяких соображений.

Квартира помещалась в пятом этаже, окнами на Неву;
мебель была солидная, но попали и сомнительные вещи,
даже легкомысленные. Из столовой переходили пить чай в
кабинет. Мало кто из холостяков любит сидеть за самова-
ром, а из «постоянных» женат был только Порфиров.

На письменном столе лежали в синих и желтых папках
дела, а над столом висел портрет деда Ардальона Семено-
вича — сердитый старик с высоким, крутым лбом и приг-
нетающим взглядом холодных глаз; портрет был тонкого
мастерства и, казалось, принимал участие в разговоре; раз-
говор же все чаще, с предметов несущественных, перехо-
дил на возвышенные, к чему, главным образом, вели Зас-
тупин и Ардальон Семенович. Завязывался спор, сначала
довольно спокойный, но стоило наскочить Порфирову, ввер-
нуть сгоряча словцо Терехову или съядовитничать Заступи-
ну и, как сухие стружки, вспыхивали противоречия; даже у
Гусева что-то менялось в голосе, словно щепочка попадала
в горло и скрипела.

В этот вечер Заступин, рассказывая о прочитанной кни-
ге «По скитам и пустыням», между прочим, упомянул о
некоем схимонахе отце Паисии, который ради смирения
плоти мазал лицо коровьим пометом и ел пауков. Любил
Заступин эдакие язвления.

— Вы с таким смаком говорите, точно и сами не прочь,
— с брезгливостью заметил Терехов и пустил из-под густых
седеющих усов завитушку табачного дыма.

— Хотел бы, да слаб, — словно бы не поняв Терехова,
признался Заступин, — от рюмки водки перед обедом и то
не могу отказаться.

Сухонький, невзрачный, в застегнутом па все пуговицы
сюртучке, он высунулся из кресла и плешь его покраснела.

— Вздор, — утвердил свою мысль Терехов и слово это резко выявило, какой он полнощекий и коренастый.

— Для вас это вздор, — еще больше высунулся из кресла Заступин, — потому что вы ничего не признаете и живете, извините, как мучной червь, а кто для Бога, у того это сила, мера-с души, а не вздор.

— Очень это важно — съедите вы паука или не съедите, — вставил Порфиоров с такой определенностью в выражении неказистого грубоватого лица, будто после него более и говорить не стоило.

— И паука — все равно испытание.

— Да, у меня был случай, — согласился Гусев и поправил на никудышном носу очки. — Купил я у одной дамы елизаветинский столик, привез в магазин, стал осматривать, потайной ящик нашел; открываю — лежит вышивка, по желтому шелку волосом — Тайная Вечеря, — работа удивительная; а на другой день является эта дама: «Я, — говорит, — очень дорогую мне вещь в столике забыла». — «Нашел, — говорю, — вышивка интересная; не продадите? — спрашиваю. «Что вы», — даже испугалась; оказывается, ее прабабка вышивала, по обещанию: обежала от мужа с каким-то уланом, муж улана пристрелил, а она в монастырь; одиннадцать лет вышивала... своими волосами...

— Конечно, дело не в том, как человек себя испытывает, — спокойно решил Ардальон Семенович, — а в самом чувстве. Это для нас существенно, но мне кажется, нельзя утверждать, что в этом наша непосредственная связь с Богом...

— Ну да, — перебил его Терехов.

— Нет. Вы несколько иначе понимаете, — осторожно остановил его Ардальон Семенович; осторожность эта очень шла к его широкой, подсеребренной пережитым, тщательно расчесанной бороде. — Я же хочу сказать, что в божественном творчестве мы участвуем все вместе, а не порознь, мы одно целое и никто из нас раньше или позже не приходит.

— Позвольте, — даже рассердился Заступин, — тогда и какая-нибудь подозрительная личность тоже участвует.

— Участвует тем, что она подозрительная, — улыбнулся Ардальон Семенович, — но так дробить и разлагать нельзя: если разрубить дерево, то получатся дрова, не больше, — а потом, меры-то у нас все-таки настоящей нет, — для многих явлений она коротка, и мы, так сказать, уже не мерим, а прикидываем на глаз...

Как это часто случается, когда разговор требует нового поворота, все замолчали, и в это мгновение на зеленое сукно письменного стола медленно опустилась и села моль; Ардальону Семеновичу появление ее показалось очень заметным и, хотя он не решился высказать явившейся у него мысли, но зато после, когда гости разошлись, она так утвердилась в его сознании, что потребовала ясного к себе отношения.

Он налил в стакан холодного чая, пройдя в спальню, поставил его на тумбочку у кровати и прилег, не раздеваясь, только пиджак снял.

«Ее жизнь такая же, как и всякая, — думал он о моли, — и, может быть ей известно многое, чего я не знаю. Как это?» — вспомнились ему чьи-то стихи:

И в каждой тле недрится Бог,
И в каждом миге бьется вечность.

Словно бы для того, чтобы он вполне поверил, что это так и есть, опять появилась белесая прозрачная мошка и поползла по плюшевому одеялу; Ардальон Семенович, приподнявшись на локте, стал внимательно следить за ней, потом взял из пепельницы спичку и повел ею перед мошкой — та остановилась, словно бы подумала и повернула в другую сторону, но опять встретила спичку; помедлила, полетела. Эти ее разумные движения и то, что она так близко незаметно существует, даже смутило Ардальона Семеновича и он долго лежал, думал о Боге...

Было яркое утро и Ардальон Семенович собирался на службу; выспался ли хорошо или от щедрости солнца, озолотившего самовар, зажегшего в стакане с чаем веселого бесенка и пролучившего синие волокна сигарного дыма, Ардальону Семеновичу было легко, — хотелось выйти на улицу.

Взял шляпу и подошел к окну, чтобы открыть форточку, — уходя куда-либо, освежал комнаты...

Задел локтем портьеру и заметил севшую на стекло моль.

«Много ее развелось, — подумал Ардальон Семенович, — не портьеру ли точит?» — и он отвернул поглядеть...

Там, где портьера прилегала к подоконнику, оказалось целое гнездо; в шерсти, в выеденных местах шевелились серебряные тончайшие крылышки, между которыми были и совсем крохотные. От света, моль всполошилась и стала расползаться.

Встряхнув портьеру, Ардальон Семенович оставил ее и отошел от окна.

На улице, в архиве, в ресторане за обедом с Тереховым, — все помнилось ему мольное гнездо; даже неприятно было, что его это так заняло, но, вернувшись домой, опять посмотрел: как-то они точат...

Показалось, что мошек еще больше.

Не тронул и не сказал прислуге.

— Пусть едят.

Это было надо для полного выявления его мысли...

С того дня он каждое утро по несколько минут простаивал у окна и наблюдал за молью в лупу...

Кропотливо и медленно подтачивала она материю, истончала ее, питалась, жила.

— Однообразно, — говорил вслух Ардальон Семенович, — очень однообразно, — и уже не к моли относились эти слова, а вообще ко всему, к порядку жизни...

Однажды зашедший к нему Порфиоров нашел его за странным занятием — он стоял на подоконнике и что-то собирал, счищая с портьеры в спичечную коробку.

— Что это вы взобрались?

Заметно потревоженный его появлением Ардальон Семенович соспустил с подоконника на кресло и торопливо спрятал коробку в карман.

— Моль, кажется, завелась, — сказал он.

— А зачем же вы ее в коробку?

— Нет, это так... — и Ардальон Семенович совсем растерялся.

А вечером он занес в синюю тетрадку, на которой было написапо: «Постижение Бога», такие строки: «Без единицы невозможно никакое представление о числе, а в жизни все следует вечному закону чисел, и нет ни одного движения, ни одной мысли вне этого закона, следовательно, единица есть то, от чего все исходит и к чему все стремится, отсюда же познание единого, — Бога. Единица мыслится, Бог вне мысли, ибо он начало и самой единицы... Но я утверждаю, что в каждом живом существе есть нечто Божеское, раскрывая которое, мы чувствуем Его так же просто, как легкие воздух или язык воду...

Сегодня моим наблюдениям помешал Порфиоров; я делаю их в секрете, чтобы никто мне не противоречил и мысль моя не затруднялась бы, не путалась...

Только одно неприятно, — моль, кажется, замечает, что я за ней наблюдаю и начинает относиться ко мне враждебно; надо быть осторожнее».

Ардальон Семенович стал опаздывать на службу и два воскресенья у него не собирались, — под разными предлогами не принимал знакомых...

То делал опыты, то писал; и раз, поздно ночью, когда его перо было быстро и решительно, он, ощутив чье-то присутствие, поднял голову; около той портьеры стояло неожиданное, малопонятное существо, — небольшого роста, с длинной шеей и продолговатой, плоской, словно бы пыль-

ной головой, в светло-сером халатике.

«Это же моль, — сообразил Ардальон Семенович, и, сейчас же справившись с некоторым страхом, вернее, тревогой, спросил:

— Что тебе надо?

— Пиши. Пиши. Я тебе не мешаю!

Вытянула шею, и сухо шелестя, села в кресло.

«Вот она какая! — подумал Ардальон Семенович. — И что это на ней одето?»

— Как не мешаешь? Села тут.

— Тебе даже удобнее, если что надо, спросишь!»

Но то, как она повернула при этом голову и искоса прищурилась, показалось Ардальону Семеновичу подозрительным.

— Ты, например, никогда бы не мог узнать, какой вкус имеют материи, — продолжала она, заметно навязывая что-то свое с непонятной еще для Ардальона Семеновича целью. — Чем дольше лежит материя, тем она лучше; очень хорош бархат, он мягок и рассыпчат, особенно в церквах: дым ладана, копоть от свечей придают ему сладкую духовитость; шелк тоже хорош, хотя он жестче; но то и другое приторно, мне больше нравятся шерсть и мех: у них кисловатый вкус и они всегда более пахнут лежалым...

— Постой. Это мне ничуть не интересно, — перебил ее Ардальон Семенович. — Ты отвлекаешь меня от главного. Что ты знаешь о Боге?

— Все распадается!

И сморщилась, запахнулась в халатик.

— Ну?

— Глеет и распадается!»

— Не путай!

— Я не путаю, — и еще более сморщилась.

— Ты боишься о Нем говорить; Бог — жизнь, а не тление, только жизнь...

— Нет!

Ее голова, до тонких кривых губ, ушла в воротник, как будто вся она хотела теперь спрятаться.

— Лжешь. И это потому, что в тлении твоя жизнь; но жизнь, понимаешь, жизнь...

Видимо, сами слова эти были противны ее существу, так она согнулась, такой стала тщедушной.

Ардальон Семенович усмехнулся, взял одно из лежавших на столе дел и замахнулся на нее, уж больно дрянной она ему показалась...

...Только пыль поднялась...

И как не было... Пустое кресло.

Но в то же мгновение Ардальон Семенович заметил, что все сукно на столе источено, и диван, и ковер, и везде копошатся, ползают мошки...

«Так я и знал, — подумал он с отвращением и ужасом, — но нельзя же этого, не позволю».

А уж и на пиджак, и на галстук понасели они, кишмя кишат, в складке рукава — белесая каша.

Ардальон Семенович отряхнулся, — полетели на пол, во все стороны: достал из кармана спички и с хитрым, знающим лицом, чиркнув сразу целым пучком, подошел к портюере...

Задымилась материя и потянулась вверх тонкая острожная струйка огня.

«Ну вот. Теперь пусть!»

И забегали они, залетали в беспомощности.

Даже помутилось все, так их было много...

— Ага, — радостно кричал Ардальон Семенович, — я говорил, не в тлении Бог, а в жизни!.. в жизни!

Бегал по кабинету, отряхивался и все повторял:

— В жизни!.. в жизни!..

ДРОВОСЕК

Сказка

Рубил мужик осенним утром хворост. Связал тринадцать пучков и присел на пенек покурить. Свернул цыгарку, глядит — пучки развязаны, раскиданы.

Диву дался мужик, собрал хворост, связал сызнава и взялся за топор. Оглянулся — хворост опять разбросан.

— И какой здесь черт измывается, — осерчал мужик и вдруг видит, стоит под березой сивый солдат на деревянной ноге.

— Что, — спрашивает, — бранишься?

— Станешь браниться, когда черт в дело путается. Я вяжу, а он раскидывает.

Ухмыльнулся солдат и говорит:

— А кто тебе велит такое дурацкое дело делать, когда и без того можно барином жить?

Достал солдат из-за пазухи большой кошель, раскрыл, показывает. Битком набит золотом.

— Сослужи мне службу — все твое.

— Ладно, давай сюда...

— погоди, сначала дай из твоего большого пальца на правой руке пососать крови.

Испугался мужик, не дает.

— Ну, так и руби свой хворост, голодай всю жизнь, — сказал солдат и пошел прочь.

— погоди, — остановил мужик, — я согласен.

Обрадовался солдат, расцарапал ногтем мужику палец, три раза слизнул кровь, сплюнул в черный коробочек и спрятал его за пазуху.

— На, бери, — сказал и отдал мужику кошелек. — А ежели мало будет, приходи сюда. Видишь, вот камень. Ударь в него три раза левой пяткой, и получишь столько, сколько тебе потребуется...

Перевернулся после этого солдат вверх ногами и сгинул.

Зажил дровосек барином. Купил богатое имение, женился на красавице-барыне, завел большую дворню, разжирел, что боров.

Думали, гадали: откуда ему привалило такое богатство, не могли догадаться. А как пришло время дровосеку помирать, поднялся в горнице, где он лежал, такой шум и гам, что все из нее повысыпали, как горох. И пока не скончался, никто к нему не вошел, боялись.

Первым осмелился войти дьячок-пьяница, а за ним и другие. Глядят, нет в горнице никого, только лежит середь пола, в кровавом пятне, обглоданный палец.

ЧЕРТОВА ТЕЛЕГА

Народная сказка

Тосковала вдова по муже — день и ночь плакала.

Под сороковой день такая навалилась на нее тягота, что взяла она веревки и пошла в клеть вешаться.

Ночь была месячная и тихая-тихая.

Уже накинула вдова на свою лебяжью шею петлю, вдруг слышит: телега тарыхтит и как будто разговор чей знакомый доносит.

Прислушалась.

Подкатывает телега к воротам.

Скинула вдова с шеи петлю, стоит, дивится, — кто бы это?

Стучат в ворота.

Пошла отпереть...

Отворила калитку — да так и ахнула.

Стоит ее муж, а с ним еще человек шесть.

Сидят они в телеге — молодец к молодцу и одеты все чисто.

Смотрит баба, — глазам не верит.

— Что ж так встречаешь? — говорит муж. — Аль уж за-
была?

— Да, голубь мой, да, касатик... Откуда ж ты?!

— А ты думала, я помер?!

— Кого ж я хоронила-то?

— Ловкое дело вышло. Хоронила ты борзого кобеля, а я жив и здоров покамест. Садись — поедем...

— Куда ж, родимый?

— Садись, говорю — узнаешь. Это мои сотоварищи.

Села баба на телегу.

Стегнул муж лошадь изо всей мочи. Покатила телега — подняла пыль.

Сидят, молчат молодцы — словно немые.

Выехала за деревню телега.

Догадывается баба, куда ее везут.

Смеется муж.

— На новый двор, — говорит муж, — в новую избу.

— Ой, чтой ты мне страшен!

— За мертвого считаешь — потому и страшен...

Едут к реке — знает баба, что место глубокое и обрыв.

— Вывалимся! — говорит.

— Ничего...

Перелетела телега через реку, — словно птица.

Взял бабу такой страх, — что сидит она, дрожит, зуб на зуб не попадает.

Глядит — лес — дороги нет!

Катит телега прямо на сосны. Расступаются сосны — дают дорогу.

— Ох, боюсь! — жалуется баба.

— Сиди, сиди! — говорит муж, — скоро приедем!

Видит баба, стоит в лесу церковка.

— Не ладно, вы, ребята, правите, — нахмурился муж. — Берите левой.

Захрапела лошадь — посыпались у нее из ноздрей искры.

— Берите левой! — говорю.

Заметалась баба.

— Сиди, говорю, — смирно! — кричит на нее муж.

А та, как поравнялись с церковкой, — возьми да и перекрестись.

Затрясла телега — подскочила. — Вытряхнуло бабу в колючий куст.

— Ах, проклятые, — немного не доехали, — слышалось из телеги.

И увидела баба, что сидят в телеге семь чертей — и самый набо́льший тот, что обернулся ее мужем.

Закружило телегу в огненном вихре и провалилась она сквозь землю.

Вернулась баба на утре домой, вся исцарапанная, упала на крыльце и заснула.

Спала три дня — думали: померла, — а на четвертый день глаза открыла и говорит:

— Отвезите меня в монастырь, люди добрые, хочу я постричься.

КЛОПЫ И КРЫСЫ

Народная сказка

Была у мужика лошадь, работал он на ней без малого тридцать лет. Отощала лошадь — кожа да кости, ослепла.

Свел ее мужик в лес, привязал к дереву, да и говорит: «Пусть на тебе черти ездят, а мне тебя такую кормить убыточно».

Прошел год. Случилось мужику быть в том же лесу. Видит — стоит его лошадь на том же месте; только стала она сытая, бока колесом, грива обросла до земли; а глаза, как уголья — так и горят... Обрадовался мужик. Вот, думает, счастье-то... какую привел, а какая стала...

Стал отвязывать ее от дерева, чтобы домой вести, и вдруг слышит голос:

— Э. нет, стой! Дареного, брат, назад не берут... А хочешь взять, так выкупай...

— А какой будет выкуп? — спрашивает мужик.

— А вот какой: в ночь под Рождество мне с левой руки мизинец.

Почесал мужик в голове, посмекал малость и согласился.

Отвязал лошадь и повел к себе. А голос ему вслед и говорит: «Только, брат, помни: что сказано, то сделано. Быка за рога, а мужика за слова».

Привел мужик домой лошадь, стал боронить да пахать, дрова возить, на базар на ней ездить, а сам нет-нет, да и подумает, сколько до Рождества осталось...

Наступила зима. Навалило снегу. Мороз по льду на реке костылем застучал...

Бойтся мужик. Близко расплата. Конечно, думает: мизинец дело маленькое и, можно сказать, совсем ни к чему, а все ж таки жалко... Да и как он его отымать будет?

Наступил сочельник.

Забился мужик на печку в самый угол, зуб на зуб не попадет от страха...

Ждал, ждал, постучал кто-то к окну.

Пошел отпереть, а сам еле на ногах стоит, так коленки и трясутся...

Глядит: нищий. Седенький такой старичок — в чем душа держится. Вошел в избу, перекрестился, поставил клюку в угол, побряхтел и сел на лавку.

Рассказал ему мужик про свое горе.

— Плохо твое дело, — говорит старик, — придет к тебе сегодня черт.

Затрясло мужика и стал он просить, чтобы помог ему старик.

— Ладно, — говорит тот, — помогу, только в другой раз черных слов не говори... Что тебе лошадь худого сделала? Тебе бы ей за труд в пояски поклониться.

И велел он мужику принести долото и бурав... Долотом продолбил щель в стене и буравом провертел дыру в полу.

Только он это сделал, откуда ни возьмись, зазвенели по улице колокольцы с бубенцами и подкатили к избе три тройки, а на них людей битком набито. Шубы у всех богатые, шапки соболями, а их лица все черные, долгоносые, а уши, как у свиней...

— Пускай, — кричат, — хозяин, гостей, отворяй ворота!

А старик говорит:

— Сиди, помалкивай...

Распахнулась тогда дверь; с гиком, визгом да присвистом ввалились в избу черные гости...

Встал старичок с лавки, перекрестил рот, дунул на них и сказал:

— Пусть половина из вас будет клопами, а половина крысами...

Стинули гости... И полезли вместо них в ту дыру, что продолбил он долотом в стене, клопы, а в ту, что в полу пробуравил — крысы...

С той поры и клопов и крыс у мужика видимо-невидимо.

ЛАПОТЬ

Сказка

Плел мужик лапоть.

Не хватило лыка и пошел мужик в лес липу облупливать, а лапоть то-с собой взял — там, думает, доплету, доделаю.

Пришел в лес, выбрал липу, какая поровнее, и стал лыко драть.

— О-ох-о-о, больно-о!

Оглянулся мужик, — никого нет.

Стал опять драть.

— Больно-о-о...

— Вот оказия-то, кто ж это, — глядит по сторонам, — а сердце-то как молоток: тук-тук-тук... — тук, тук, тук...

— Липа, ты?

— Я...

— Да каким же ты местом голос подаешь?

— Снугра.

— Господи, вот еще дело-то?.. Стало быть, больно.

— Больно... страсть.

— Ах ты беда, — почесал мужик затылок, — а мне на лапоть лыка нужно, что ж мне теперь делать-то?

Жалостливый был мужик — муху не обидит.

— Иди, мужик, к реке, сядь в лапоть и плыви в море, а там увидишь, что будет, — свое счастье найдешь.

Подивился мужик.

— Шутница, — по реке в лапте.

— Верно, мужик, говорю!

Покачал мужик головой, — пошел к реке. Кинул в воду лапоть — глядь — стал он такой большой, что хоть втроем садись — ну и диковина!

Сел в него мужик и поплыл.

Плывет день, плывет другой... на третий выплыл на средину моря. Стоит среди моря на зеленом острове белый град.

Причалил мужик к берегу — а народу на берегу тьма тьмушая.

Все мужику земно кланяются — хлеб-соль подносят. В церквах колокола звонят.

— За что, — дивуется мужик, — мне такая честь?

Ведут мужика по улицам, привели во дворец.

Входит он, страсть боязно. Везде бархат да золото.

Привели мужика в белую палату.

Глядит — сидит перед ним на троне Краса-царевна.

С лица белая-белая, что снег, а волосы кудрявые, зеленые.

Правая рука у нее завязана.

Поклонился мужик.

Стоит, переминается с ноги на ногу.

— Здравствуй, Степан, — говорит царевна и улыбается таково, душевно, ласково.

— Здравствуй, царевна, впервой тебя вижу, а ты меня знаешь — по имени назвала.

— Нет, не впервой — я и есть та самая липа, с которой ты лыко драл.

Задрожал мужик, как лист — сам не знает, что с ним стало — жизни не рад.

— Прости, царевна. Где было знать...

— Прощаю и за то, что пожалел ты меня, вот тебе мое кольцо, — и протянула ему левую руку. — Не могу сама снять — повредил ты мне правую руку.

Снял мужик кольцо.

— Надень, — говорит царевна.

Надел.

— Теперь ты мой жених, а я твоя невеста.

Засмеялась царевна-липа и сошла с трона, взяла левой рукой мужика за правую.

Стал мужик царем на зеленом острове, в белом граде.

Зажила у царицы рука, лишь остались на ней чуть заметные рубчики на тех местах, где мужик надрез на лице делал.

А лапоть прибили над воротами белого града, и кто проходит воротами или мимо, шапку снимает. Сделан-то лапоть не из липового лыка, а из нежной да белой царевинной кожи.

ТРИ ДУБА

Сказка

Шел из Соловков странник, слепенький. В каких монастырях он ни был, по каким иконам да мощам не прикладывался, не открылись его глаза. Шел странник, пылил лаптями, клюкой по дороге постукивал. Не знал, куда идти, где чуда искать.

Клонилося время к вечеру. Устал странник, захотелось ему есть. Отошел от дороги в сторонку, пошарил вокруг клюкой. Стукнула клюка о камень.

Сел на него странник, вынул из котомки черствого хлеба краюху, перекрестился и стал есть.

У того места, где сел странник, стояли три дуба. Стояли они рядом, сплелись ветвями, как родные братья. Были они крепки, высоки и развесисты.

Сидит странник, ест свою краюху и вдруг слышит:

— Опять, братцы, человек к нам пришел. Попросим его, чтобы за нас помолился.

— Не станет. Сколько приходило... Всякий за своим делом идет, кому о нас молиться?

— Кабы мне про мой грех не рассказывать, так, может, кто и стал бы молиться, а то каждый думает: такого греха не замолишь.

Удивился странник: что, думает, за диковина, кто ж это говорит? Голоса-то такие глухие, словно из-под земли.

— Это мы, Божий человек, — дубы. Трое нас здесь стоит у дороги, трое разбойничков. Наказал нас Господь, заключил нашу душу в древесную плоть... Мы тебе покаемся, а ты помолись за нас, Божий человек.

— Я бы и рад помолиться, — сказал странник, — да молитвы-то мои до Бога не доходливы. Сколько лет вот молюсь, а все слепой.

— Помолись, странник, — просят разбойники, — расска-

жем мы тебе наши грехи.

— Ну, рассказывайте.

Зашумел правый дуб, словно головой тряхнул:

— Тяжко мне... ох, как тяжело! — начал он и рассказал о том, как тридцать три года без малого ходил с буйной шайкою по Оке-реке. Сколько душ загублено, того не считано, крови пролито море целое... Изю всех грехов один грех всего памятней: загубил он в лесу девицу... Собирала она малину сладкую. Надругался он над ней, а потом всадил острый нож между грудей белых, да повесил за косы на высокий сук.

Зашумел средний дуб так, что листья посыпались.

Рассказал он:

Разбойничал он на Волге-реке. Сколько душ загублено, того не считано, крови пролито море целое. Один грех изю всех самый памятный: пришел он раз в скит к пустыннику, и стал пустынник его наставлять:

«Нет, — говорит, — тебе прощения». Взяли его эти слова за сердце. Ударил он его кистенем и пошел прочь...

Задрожал левый дуб, зашатался:

— Страшен мой грех, нет тяжелей его на свете. Не станешь ты, странник, молиться. Уйдешь — не дослушаешь. — И рассказал Василий, как он был пойман воеводой. Пытал его воевода, про товарищей выспрашивал, а всего-то у него было товарищей — что кистень да булатный нож. Обещал ему воевода, если выдаст головой других — отрубить ему правую руку и отпустить на волю. И стал он со страху на кого попало поклеп вести, а чтоб крепче воевода словам его поверил, повел поклеп на родную матушку.

— Да, тяжелы ваши грехи, — вздохнул странник, — а все ж помолюсь за ваши души грешные.

Стал странник на колени и начал молиться. Молился он пятнадцать лет. Приносили ему вороны воду и хлеб. Источил он коленями кремень-камень...

Первым повалился правый дуб. Вышла из него душа разбойничья.

Сказала душа: «Светло мне и радостно».

Вторым упал средний дуб. Вышла из него душа разбойничья. Сказала душа: «Светло мне и радостно».

А третий дуб все стоит, как стоял.

Молился странник до кровавых слез; все не было третьему разбойнику прощения.

— Господи! — раз воскликнул странник в отчаянии, — просил я тебя, чтобы ты открыл мои глаза. Если есть такой грех, которого ты простить не можешь, то не хочу я глядеть на белый свет и лучше мне остаться слепым до смерти.

И повалился тут третий дуб. Вышла душа разбойничья, сказала: «Светло мне и радостно».

А у старика раскрылись глаза, и восхвалил он Господа за Его мудрость и милосердие...

СИДЕНЬ-ПОСИДЕНЬ

Сказка

Сидел Сидень-посидень на лавке девяносто лет.

Отросла у сидня борода до полу. Играли ей котятя. Ребятишки из нее, для лесы, волос дергали.

Сидел Сидень и пел.

А песня-то у него была короткая — всего в два слова.

— Сижу-у, гляжу-у!..

Кто что ни делает — дурное иль хорошее, а он, знай, свое тянет:

— Сижу-у — гляжу-у!..

И такой у него голос был, в душу входчивый, что кто делал зло — тому от его песни худо становилось, а кто добро — тому сладостно.

Ехал раз мимо избы купец и сломалось у коляски колесо.

Вылез купец из коляски — вошел в избу.

Не перекрестился купец — шапки не снял.

А Сидень-посидень сидит, поет:

— Сижу-у, — гляжу-у!..

— А не твое дело, — говорит купец, — и сиди, коли ног нет!

— Сижу-у — гляжу-у!..

— Ладно — гляди!..

Сел мужик за стол, приказал дорожный погребец принести, — достал из него водки полштофа, кислой капусты на закуску потребовал и стал из серебряной чарки пить.

А Сидень-посидень все свое:

— Сижу-у, гляжу-у!..

— Ах ты, седой черт! — заругался купец. — «Сижу — гляжу», — да наплевать мне на тебя! Пью водку и буду пить! Кто мне указчик?!..

Выпил купец десять чарок.

Захмелел.

— Хочу, — говорит, — чтобы девки плясали. Гони, сгоняй всю деревню!

Мужик-то, у которого жил посидень, был бедный и, вестимо, рад, — что купец разгулялся. Думает, нажива будет... Мигом, куда надо, сбегал и собрал. Натолклось народу полная изба.

Гуляет купец — рублями хоть реку пруди! Туда-сюда так и швыряет. Перепились парни с девками. Срамотища пошла.

Непристойные песни орут, а солдатка Арина скинула с себя все и, как мать родила, заходила по избе белой лебедью.

Руками и ногами такое выделявает, что купец инда вспотел весь, так его забрало.

А Сидень-посидень:

— Сижу-у — гляжу-у!..

— Убрать его отсюда! — заревел купец. — Что он мутит?

Все поспритихли, — стоят — не знают, что делать.

— Что стоите — боитесь, что ль?

Подошел купец к посидню и взял его за бороду.

Все так и ахнули.

А посидень все свое:

— Сижу-у — гляжу-у!..

— Ты у меня сейчас поглядишь, — побагровел купец, — дам я тебе выволочку!

И давай посидня за бороду трясти.

— Ну, замолчишь?

— Сижу-у — гляжу-у!..

— Ах ты пес, так на ж тебе, старый хрыч!

Размахнулся купец, а не пришлось ему посидня ударить: повисла рука, что плеть.

Хотел было ее купец левой рукой пощупать — и с той то же.

— Каменею, — кричит, — ах, каменею!

И взаправду, стал он серым, повалился на пол. Глядят все: что за диво? Вместо купца — лежит похожий на человека камень серый.

Поняли все, — что поделом наказал купца посидень. Вы-
волокли камень наружу, да с горы в реку!

Вернулись потом в избу, видят: ходит посидень.

— Встал дед. Вот чудеса-то!..

— Дождался, кого надо, пора и встать! — И засмеялся посидень, с лица посветлел.

АНЧУТКА

Сказка

Днем Анчутка по щелям прятался, а ночью вылезал.

Чего только Анчутка ни выдумывал, как только Анчутка ни проказил, а снились его потехи пьяным мужикам да срамным бабам.

Жил на деревне Антон, божий старец, такой добрый, мухи не обидит.

И так и сяк к нему Анчутка подлизывался, напускал на него дурные сны, а старец спал, как младенец, и ничего-то не видел, кроме серебряных ангельских крыльев да голубых Господних воздушных.

Заболел тяжело старец, пришло ему время помирать...

«Вот, — думает Анчутка, — когда ты — мой-то!»

Глянула ночь в окна, черная со звездами, золотыми гвоздями в небе. Вылез Анчутка из щели и, закидывая за плечи тонкие, длинные скользкие ноги, побежал к старцу.

Шмыгнул под дверь в избу, скрутился жгутиком, прыгнул к старцу на лавку и лег в головах. Лежит, усами пошевеливает, глазами позыркивает — напускает на старца грешные сны.

А старец-то не спал, только глаза у него были закрыты — так лежал, к смертному часу готовился, о жизни своей думы благочестивые думал.

Услыхал он, как Анчутка на постель сиганул, и запало ему на мысль поймать паскудника, чтобы он сонный покой не смущал, грешных снов не творил.

«Ох, испить бы», — говорит, словно во сне, старец.

Услыхал Анчутка — сейчас к рукомойнику, дунул на него — обернул рукомойник четвертью, а вместо воды — водка — и к старцу.

— На, — говорит, — выпей, родимый, — а сам обернулся дебелой бабой — кабацкой сидельщицей.

«Хитер ты, — думает старец. — Вина я не пью, водицы бы...»

— Это-то вода — какая водка? Хлебни-ка...

— Ан нет, — дух от нее нехороший, винный дух..

— А ты хлебни, дедушка!

— Ах ты такой, сякой, — поднялся дед, схватил Анчутку — бабу дебилую за руку и хочет крестным знаменем в прах обратить.

Пропала баба — а вместо нее — мышь.

Держит ее старец в руке.

— Попался! — говорит.

А Анчутка плачется, таково жалобно просит: «Что хочешь, делай со мной — только не крести!»

— Ладно! Лезь в четвертную.

— Это не четвертная, а рукомойник!

— Все одно, лезь!

Сиганул Анчутка в рукомойник.

— Так-то, а теперича сиди здесь до скончания света! — перекрестил старик рукомойник.

Да слаб был, не удержал в руке — упал рукомойник на пол и разбился.

Завизжал Анчутка, закорчился. Крест всего его спалил.

— Ох-хо-хо! — простонал старец и помер.

...А Анчутка скорее из избы старца в соседнюю. Забил-ся в первую попавшуюся щель и стал ожоги залечивать. Целых сорок дней сидел, пока не зажили.

КОЗЛИНЫЕ СКАЗКИ

I. Козел

В той ли дальней земле, где сидят на царстве Гога да Магога — железные носы; за тем ли тыном из трех веретень Дурищи-Бабищи, Латефы-Манефы, что сама себе пятки обглодала меж рудых песков, по точеным камешкам бежит речка «Смородина», глубокая-преглубокая.

Ходит у речки рыжий козел, бороду мочит, броду ищет.

Выплывают водяницы на козла посмотреть, козлиных сказок послушать — тело девичье тонко, да гибко, что ивовый прут, а рыбий хвост серебром отливает:

— Козел-козлище, метла бородище, а хочешь, скажем, где мелко?

Уставится на них Козел, а вода с бороды кап... кап... кап...

— Слышь, аль нет, хочешь, скажем, где мелко?

И смеются, словно их кто щекочет.

— А где?

— То-то, где. Расскажи наперед сказку — покажем.

— Знаю я вас. Покажете, как намердны.

— Вот те, черт, покажем.

Сядет Козел по-собачьи, на задние лапы, брюхо копытом почешет и начнет сказывать.

Взявшись за руки, подплывут водяницы к самому берегу и слушают — глаза большие, зеленой осоки и мутные.

Каких только Козел сказок не знает, и так то у него все складно выходит, а присказки, — ох, и чудные, со смеху помереть.

Трень-брень, старый пенё,
Надел шапку набекрень.
Не велика, не мала
Шла корова

Визг, брызг на смородине, кулики да утки в подоблачье,
а рыба-рыбешка в тину на дно.

Кончит Козел сказку и спрашивает по уговору:

— Показывайте теперь, где мелко.

— А здесь близко, беги за нами, не отставай.

Плеснут хвостами и поплывут, а плавают-то быстро, еле-еле Козлу угнаться. Устанет Козел, глаза вылупит.

— Ох, заморился. Далече еще?

— Здесь, Козлище, здесь, бородища.

А сами только шеями вертят, да пузыри пускают. Остановится Козел, чуть с ног не валится.

— У, чтоб, вас, проклятые. Нет моей моченьки.

— Зря бранишься, у брода стоишь.

Только Козел с берега ступит, схватят они его за бороду, да все разом как дернут.

Он-то упирается, головой крутит, а им потеха. Искупают Козла и под воду.

Выскочит Козел на берег сам не свой и опять броду искать, а где на «Смородине» брод, одни омуты.

II. Латефа-Манефа

Сидит Латефа-Манефа на печи, веником дым разгоняет, в трубе ворона гнездо свила, — влезть бы на крышу, да трубу-то вычистить, — Латефе-Манефе невдомек, такая дурища.

— И с чего это, — думает, мне так глазыньки ест?

Слезы, что горох из мешка, а на догадку ума нет.

Вытопится печь, станет Латефа-Манефа хлебы сажать, — не тем концом лопату сует. Упрется лопата, хлебу дальше шестка ходу-то и нет, а Латефа-Манефа стоит сокрушается:

— Мала — печка-то.

Голова у Латефы-Манефы с пивную корчагу, да со сквозниной, и нет в ней ничего, окромя копоти.

Из-за долгих волос всклоченных, в грязи валеных, Латефе-Манефе свету не видать.

Ходит Латефа-Манефа раскорячившись, брюхо волоком тащит, носом землю роет.

Позвал раз черт Латефу-Манефу в гости.

Собралась бабища — сборы-то у нее недолгие. Лапти на ухо повесила, да и пошла.

Идет луговиной скошенной — колко; ельничком да березничком — дерко; стежкой болотной — мокро.

Ей бы лапти надеть, а она села на станежник* и давай пятки грызть. Грызла, грызла, до кости догрызла и пришла к черту без пяток.

— Не способно, — говорит, к тебе идти. Знала бы, не пришла.

А черт выколотил трубку о копыто, когтем выскоблил и смеется:

— А ты бы на левое ухо лапти-то повесила. Живо бы дошла.

— Ишь ты. Кабы знать-то...

Стал черт Латефу-Манефу потчевать, поставил перед ней миску с петушиными гребешками. Самое это у чертей сладкое кушанье. Гребешки-то от тех черных петухов, которых при колдовании режут.

Взяла Латефа-Манефа миску, да всю сразу в рот и опрокинула. Черт даже облизнуться не успел. Жарил-парил и отобедать не пришлось.

«Позвал, — думает, — шкуру, — такая гостья и хозяина слопает. Пстой, я те угощу».

— Хороши?

— И-и — какие... — и глазища закатила.

Ушел черт с миской — приносит полную железных желудей.

— Вот, откушай — то была еда, а это на заедочку.

Схватила Латефа-Манефа и не желудей, ни миски, только хрустнуло.

— Чтой-то, — говорит, — быдто я косточку проглотила.

* Муравьиная куча (Прим. авт.).

Почесал черт переносье, поглядел на Латефу-Манефу искоса, да боком от нее, боком шмыгнул за дверь, морду стрелкой и ходу, а уж он ли не видал нечисти.

Пождала, пождала Латефа-Манефа, лапти с правого уха на левое перевесила и пошла домой...

Пришла и завалилась на печь. Изба от храпа ходуном заходила — заскрипели на ней железные обручи.

Брюхо у Латефы-Манефы до полу свесилось — забурчало, — поглядеть, да плюнуть...

Вот она какая, Латефа-Манефа.

III. Домовой

Сидел голодный мужик в избе нетопленной. Тужил да думы думал... Живот веревкой перетянул, инда в глазах замурашило, и все есть охота.

Промаялся до ночи, ударил кулаком по столу: «Скручусь, — говорит, — с домовым, коли такое дело», — надел шапку и к кузнецу.

Темень была, своего пальца не увидишь, а звезды такие острые, что глазам больно.

Ущипнул мороз за щеку, да за другую, да за нос, стрельнул под рубаху. Живо мужик добежал до кузницы.

Видит — не спит кузнец — железо калит, меха раздувает.

Поклонился мужик:

— Бог на помочь.

Забурчало в огне, завило его вихрем, и весь жар раскидало.

Плюнул кузнец с досады:

— Кол тебе, дураку, в глотку. Я черту подкову кую, а он такие слова. Сказывай живей, с чем пришел.

Испугался мужик, еле языком ворочает:

— Хочу с домовым скрутиться. А где его взять? Окромя тебя, спросить некого. Сам знаешь.

— Домового тебе? Возьми из подлаза веник, оберни его в тряпку, а вместо головы репу насади. Зарежь черного петуха и ступай в овин. Стань лицом в левый угол, окропи веник петушиной кровью и покличь до трех раз. Тут тебе домовой и объявится. Только смотри, он без дела сидеть не будет. Не дашь работы, задушит.

— А как покликать-то?

— Как покличешь, так и ладно. Хоть Иваном, хоть Федором.

Сказал мужик спасибо, пошел, украл у соседа с насеста черного петуха и сделал все, как говорил кузнец. Первый раз покликал, не отозвался домовой, и другой то же, а в третий, как крикнул:

— Иван...

Заворошилось в углу, вырос веник под самую слягу, была репа и нет — пышет огнем голова лошадиная, ощеренная.

— Я здесь, — ржет, — давай работы.

Затрясся мужик — со страху память отшибло.

— Давай работы, — и тянет к мужику лапы, шестипалые, волосатые.

— Испеки пирог с кашей.

Кинулся мужик из овина в избу — глядит: уж пирог на столе, а домовой с печи лезет:

— Давай работы.

Замешкался мужик — туда, сюда:

— Сготовь бочку денег.

Только сказал — загрохотала, покатила по полу медная бочка.

Мужик диву дался, и рад и не рад; больно-то шустр домовой.

А тот опять:

— Давай работы.

Смекнул мужик, что ежели не обойдет домового, пропасть ему.

— Растопи, — говорит, — снег, покажь ночью солнце, — а сам к окну.

Видит — тает снег. Заиграло в лужах внешнее золото и капель с крыш закапала. Высыпал народ на улицу — пошел толк, перетолк: «Что за чудо чудное, по зиме весна, ночью солнце».

Мужик ажно на лавку повалился. Идет на него домо-вой.

— Давай работы — дава-ай.

Увидал мужик на дворе собаку. Эх, думает, сейчас поми-рать — поживу еще маленечко.

— Раскрути псу хвост.

Домовой на двор, выдрал хвост с куском мяса и стал раскручивать.

Вытянет, разгладит его, а он опять свернется.

Бился, бился, плюнул:

— Твое, — говорит, — мужик, счастье, — и провалился сквозь землю.

Прожил мужик до старости в чести и богатстве — рассказывал-растабаривал, как домового перехитрил, а куцую собаку за родную мать почитал.

То ли еще бывает.

СКАЗОЧКИ

I. Корабль

Ходил по деревне Ванька-Лопух; один лапоть на ноге, а другой в руке.

Остановится супротив окна, три раза поклонится и говорит:

— Прощайте, люди добрые, не поминайте лихом!..

— Куда же ты, Ванька, собрался-то?

— К Латефе-Мемефе, за море!..

Усмехнутся, покачают головой: что с дурака взять? Мелет, а что — сам не знает.

На лбу у Ваньки шишка, нос подковыркой, а торчкова-тые уши — аршином мерь. За уши-то Лопухом и прозвали.

Ударили раз Ваньку на гумне по голове цепом, с той поры он и зашелся...

Был на деревне праздник — парни с девками хоровод водили, а старики на завалинках про турку ребятам рассказывали.

Приставал Ванька к тому да к другому, надоел всем.

Затащили Ваньку в хоровод, поставили посередке и пошли вокруг него, заголосили.

Постоял Ванька, поглядел, да в ноги:

— Прощайте, люди добрые, не поминайте лихом!

Положил лапоть на землю и сел на него.

Глядят все — глазам не верят: нет лаптя, а вместо его — корабль. Паруса надуты, руль по ветру.

Поднялся корабль и поплыл в небо, словно лебедь белый.

Глядят все вверх — у парней шапки попадали, у девок платки на затылок слезли.

— Эко диво... — Стоит Ванька-Лопух на носу корабля и шапкой машет.

— Ванька, куда ты? — крикнул кто-то.

— К Латефе-Мемефе, за море!

Бросили водить хоровод, разошлись все — и до поздней ночи только и разговоров было, что о Ваньке.

Когда на деревне все уже спали, Ванька на том берегу моря спускался к золотому дворцу. Выходит навстречу ему Латефа-Мемефа. На голове у Латефы корона огневая, вокруг нее змеи черные обвиты. Красоты Латефа неописанной...

Стал корабль у дворца, у самого крыльца.

Вышел из него Ванька-Лопух, шапку в руках держит и ухмыляется.

— В какой руке счастье? — спрашивает Латефа-Мемефа. — Угадай!

— В правой, — говорит Ванька.

Известно, дурак — сразу отгадал.

Раскрыла Латефа правую руку, а в ней — кольцо.

Обрадовался Ванька.

Взял кольцо, любитесь.

— Что хочешь, то и будет по твоему слову, — говорит Латефа.

А чего Ванька хочет? — Ничего ему не нужно.

Молчит Ванька.

— Что ж, чего твоя душа хочет?

Опять молчит Ванька, ухмыляется.

Погладила Латефа Ваньку по голове, поцеловала в очи и молвила:

— Лети назад!

Поднялся корабль, и глазом Ванька не моргнул.

Идет он опять по деревне — один лапот в руке, а другой на ноге, а на среднем пальце левой руки кольцо блестит.

Летела ворона. Увидела кольцо и просит:

— Кар-кар. Дай!

Ухмыляется Ванька.

Сняла ворона клювом с пальца кольцо и была такова.

— Кар-кар. Спасибо! — кричит.

А Ваньке хоть бы что, идет — под ноги не смотрит, во весь рот ухмыляется.

Выглядывают из окон мужики: Ванька.

— Где был? — спрашивают.

— У Латефы-Мемефы.

— Что видал?

— Ее самую.

— Ну и дурак!

А того не знают, что счастье у него в руках было.

С тех пор и повелось: дуракам счастье.

Это от вороны узнали, не донесла кольца до гнезда, потеряла и всем про то разболтала.

II. Чернокнижник

В дупле древней липы жила сова. Днем слепая сидела, а ночью летала за тридевять земель в Турецкое царство к чернокнижнику — премудрости учиться.

Поседела она в ученьи, а всего только узнала, что в первой книжке написано.

Книг же было тринадцать сороков.

Затосковала сова — скоро время помирать, а она ничего еще порядком не знает.

— Так и так, — говорит чернокнижнику, — как бы мне все науки сразу произойти. Коли ты чернокнижник, так должен ты и это знать.

Потер себе плешь чернокнижник и говорит:

— Трудно это, я сам всего до тридцать третьей книги учен.

— Ладно, что трудно, а все ж таки можно.

— Можно-то можно.

— Можно — так сказывай.

— Дай правый глаз выкусить — скажу.

Подумала сова — неспособна она без глаза-то. Ну, да что делать?

— Выкусывай, — говорит.

Вынул чернокнижник из смрадного рта четыре передних зуба — два верхних и два нижних. Вставил вместо их рыбы — тонкие да длинные. Нацелился на совиный глаз.

Не успела сова моргнуть — глядь, уж и выкусил.

— Ахти, батюшки, — завопила сова. — Глазок мой, глазок!..

— Ладно, старая. За то все, что надо, сейчас узнаешь.

Плеснул он сове, чтобы кровь не шла.

Мигом рана зажила. В кровавую глазницу из красной склянки живой воды влил, взял со стола одиннадцатую книгу, развернул ее на поставце и говорит:

— Слушай...

Носом почмыхал, переносье пальцем потер и стал читать:

— А кто хочет сразу все науки произойти, тот пусть сойдет в ад и у его святейшества Асмодея снимет с левой руки перстень. В том перстне скрыта капля — слеза Асмодеева, которую пролил он в час нисхождения с неба в преисподнюю. Оную каплю проглотивший, сразу все тайны небесные и земные уразумет.

— Слышала? — сказал чернокнижник и закрыл книгу.

Задумалась сова:

— Как достать перстень? Асмодея перехитрить?

Думала, думала, поднялась и полетела к себе в дупло. Решила, что дома додумает.

Рыл крот ходы подземные. Около липы, в которой сова думала — земляных кучек понасыпано!

— А скажи, крот, — спрашивает его сова, — живешь ты под землей, — хитрые ходы роешь, — не знаешь ли, как в ад попасть?

— Знаю, — говорит крот.

— Как?!

— Согреси как поболе и попадешь.

— Так-то я и без тебя знаю. Как иначе?

— Иначе? Не знаю, как иначе. — И принялся за свое дело — повел ход вокруг липы.

Кого ни спрашивала сова, никто не знает, где в ад дорога. К чернокнижнику летала, добивалась, а он только усмехается.

— Что обещался, то сказал. Чего пристаешь?

— Выкуси левый глаз, только скажи!

— Зачем мне левый? левый глаз грешный.

Так и не узнала сова, как в ад ей попасть, и с тех пор каждую ночь в ад влета ищет. Порхает по земле крылом, под каждый куст заглядывает...

III. Козел

Ходил козел у реки, глядел в воду, бородой мотал.

Вышла из воды водяница. Села на отмели, на мелкий желтый песочек, и говорит козлу:

— Что ходишь? Давай бороду расчесу.

Сидит голая, чешет длинные волосы гребнем из рыбьей кости.

— Мне до тебя не допрыгнуть.

— А ты попробуй, — смеется водяница.

— А как утону?

— Не утонешь — мелко — за рога вытащу.

Подумал козел, подумал — охота ему с расчесанной бородой походить...

Разбежался — хотел перемахнуть на отмель — не вышло дело.

Отбежал от реки еще дальше и пустился изо всей мочи.

Не попал на отмель.

Бултыхнулся в воду..

— Тону!.. Хватай за рога!.. Тащи!.. Ох, тону!..

А водяница схватилась за бока, помирает со смеху.

— Тони. Мне-то что.

Мелькнули козлиные рога раз, другой, и ушел козел под воду.

Нырнула с отмели водяница. Подплыла к козлу.

Лежит козел. Раздуло его. Ноги вытянуты.

Запустила водяница руки в козлиную шерсть, ногами в спину ему уперлась, назад откинулась. Тянется — от сладости, да глаза зажмурила. Вдруг пополз козел по дну.

Глядит водяница — зацепил его за шею железный багор и тащит.

Она козла к себе, а багор — к себе.

Слышит на берегу человеческие голоса...

— Здесь — тyani!..

Видит водяница — не хватит у нее силы.

Хотела козла от багра отцепить и отцепила было, да вдруг сама волосами и запуталась. Потянуло ее наверх — разводит она руки, головой мотает. Хотя бы ты что — тянет багор.

Блеснул в глаза ей белый свет — застонала она протяжным голосом.

Зашумели на берегу.

Бежит из деревни народ, — а с лугов косцы.

— Русалку поймали. Русалку...

Разметалась водяница на берегу, притворилась мертвой.

Мальчишки ее за руки тянут. Мужики махорочный дым в рот пускают.

А она не шелохнется.

— Мертвая...

— Какая красавица! Не гляди, что поганая...

— Тоже тварь...

Стоят — не знают, что с ней делать.

— Это она козла уволокла!

— Вестимо, она. Сам он, что ль, в воду полезет.

А водяница лежит, думает: может, уйдут...

— Сжечь ее!..

— Неси, ребята, хворосту!..

Приоткрыла правый глаз водяница, видит, до реки всего шага три.

Улучила время, когда никто напротив не стоял, — метнулась по-рыбьему и была такова.

— Ах, паскуда! Уплыла!..

А водяница от того места, где лежал козел, поплыла что было силы в самую глубь реки, в темный омут, что за поповой мельницей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты публикуются по указанным первоизданиям с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам. В стихотворениях сохранена авторская пунктуация.

Составитель и издательство благодарят А. А. Степанова за помощь в работе и предоставленные сканы ряда рассказов.

Принятые сокращения:

ВБ — В башне: Стихи. Кн. 1. [СПб.]: EOS, 1907.

КА — Карусели: Книга стихов 1908-1909 г. СПб.: Прогресс, 1910.

КП — Красные песни. Ялта: Тип. Н. В. Вахтина, 1906.

СЦС — Сквозь цветные стекла. М.: Типо-Лит. Русского Тов. Печатн. и Изд. дела [обл.: Пг.], 1915.

ЦЕВ — Цевница: Стихи 1905-1911. СПб.: Союз, 1912.

Стихотворения

Вампир // Альманах книгоиздательства «Гриф». М., 1903.

Женщина в красном // Всемирная панорама. 1909. № 15.

Ангел // ЦЕВ.

Песня крови // Прометей. 1906. № 2. В КП без посв. Марк Криницкий (М. В. Самыгин, 1874-1952) — беллетрист, драматург.

Игра // КА.

Идиллия // КА.

Дядя Джон // КА.

Шуты // КП.

Черный король // ЦЕВ. В КА без посв. Мисс — А. В. Ремизо-

ва-Васильева (? – 1928), художница, иллюстратор.

Красный всадник // КП.

Семь принцесс // ВБ.

Принцесса // ВБ.

Песня о бедном рыцаре и слепой Лизе // ВБ.

Мраморный рыцарь // ЦЕВ.

Башня смерти // Огонек. 1908. № 21.

Призыв // ВБ.

Голоса в башне // ЦЕВ.

На страже // ВБ.

«В кровавых порфирах и ярких коронах...» // ВБ.

В пещере // ВБ.

Звери // ВБ.

«Далеко в пустыне моря...» // ВБ.

Морская волшебница // ВБ.

Пираты // ЦЕВ.

Царевна // Литер.-худож. сб. журнала «Жизнь». СПб.,

[1908]. Лунный город // ВБ.

Облака // ЦЕВ.

Развалины // ЦЕВ.

Курган // ЦЕВ.

Ведьма // ВБ.

Гаданье // ЦЕВ.

Маска // ВБ.

Праздник прокаженных // ЦЕВ.

Карлики // КА.

Danse macabre // КА.

Смерть у парикмахера // КА.

Загульная // КА.

В белую ночь // ЦЕВ.

Встреча // КА.

В публичном доме // КА.

«Когда свинцовые туманы...» // ВБ.

Дьяволы города // ВБ.

Барельеф // В. Б. В. В. Муйжель (1880-1924) — прозаик, журналист.

Сатанаил // ВБ.

Смерть // ВБ.

Ночь ///ВБ.

Рассказы

Профессор в аквариуме // СЦС.

Паук // Синий журнал. 1912. № 52.

Сколопендра // СЦС.

Портсигар из крокодиловой кожи // Синий журнал. 1912. № 39. Илл. Н. Радина.

Почти невероятное приключение // Весь мир. 1912. № 3.

Колодезь // Синий журнал. 1911. № 20. Илл. Н. Радина.

Рисунок на обоях // Огонек. 1916. № 5. Илл. М. Рошковского.

Голубое платье // СЦС.

Тень на матовом стекле // Огонек. 1916. № 35. Илл. М. Рошковского.

Ангел с шарманкой // Аргус. 1915. № 11. Илл. С Лодыгина.

Кровь // Всемирная панорама. 1910. № 44.

Красный автомобиль // Весь мир. 1910. № 11.

Предчувствие // Родина. 1914. № 48.

Бог // Лукоморье. 1915. № 35.

Дровосек // Всемирная панорама. 1912. № 149.

Чертова телега // Всемирная панорама. 1913. № 202/9.

Клопы и крысы // Всемирная панорама. 1912. № 144/3.

Лапоть // Всемирная панорама. 1913. № 195/2.

Три дуба // Всемирная панорама. 1912. № 185/44.

Сидень-посидень // Всемирная панорама. 1912. № 192/51.

Анчутка // Всемирная панорама. 1913. № 225/32.

Козлиные сказки // Синий журнал. 1915. № 7.

Сказочки // Волны. 1913. № 4, март.

Оглавление

СТИХОТВОРЕНИЯ	6
РАССКАЗЫ	
Профессор в аквариуме	71
Паук	76
Сколопендра	83
Портсигар из крокодиловой кожи	93
Почти невероятное приключение	101
Колодезь	109
Рисунок на обоях	114
Голубое платье	124
Тень на матовом стекле	131
Ангел с шарманкой	143
Кровь	153
Красный автомобиль	153
Предчувствие	167
Бог	173
Дровосек	181
Чертова телега	183

Клопы и крысы	186
Лапотъ	188
Три дуба	191
Сидень-посидень	194
Анчутка	197
Козлиные сказки	199
Сказочки	205
Примечания	211

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.